**Заключение**

**Идея гражданской нации в эпоху политической эклектики**

Подождем, милостивые государи!

Пусть теперь господствуют эти метафизики! <...>

Может быть, после долгих бесплодных разглагольствований

вернутся к нашим скромным эмпирическим решениям

*Эрнест Ренан*

Противоречивые оценки концепции гражданской нации на протяжении многих десятилетий были и остаются скорее нормой, чем исключением. Э. Ренан в своей знаменитой лекции «Что такое нация?» (1882) пытался «внести больше точности в эти трудные вопросы, в которых малейшее смешение смысла слов в начале рассуждения может привести в конце концов к самым пагубным ошибкам»[[1]](#footnote-1). Выдающийся историк и социальный мыслитель тогда пытался противостоять ошибкам смешения нации с расовыми, этнографическими или лингвистическим общностями. Однако со времен Ренана вряд ли было более сложное время для поиска «точности» и нахождения приемлемой конвенции в определении большинства социально-политических явлений и особенно такого сложного явления, как нация, чем нынешняя эпоха. Политолог Лилия Шевцова в январе 2017 года определила ее как время затухающего постмодерна, а также (ссылаясь на Зигмунта Баумана) «как liquid modernity – “текучая современность”, когда все размыто и нет границ между принципами и нормами. Нет ни друга – ни врага, ни мира – ни войны, ни закона – ни беззакония: все смешалось в одном стакане»[[2]](#footnote-2). Мода на неопределенные, размытые критерии и туманные рассуждения, не опирающиеся на эмпирические данные (именно это Ренан называл «метафизикой»), превращает всю общественную науку и в частности науку о нации в некие необязательные игры, в пустословие. Впрочем, интеллектуальное разоружение – следствие не одной только моды. Оно возникло под влиянием совокупности глубинных социально-политических процессов, связанных с растущей разобщенностью обществ и уменьшением их влияния на формирование национальной и международной повестки дня, а также все бóльшим отрывом гуманитарного научного знания от общественного интереса. Мы пытались показать в нашей книге, что условия, в которых происходит подобное интеллектуальное разоружение, различны в странах Запада и в России. Неодинаковы и его последствия. В России эти тенденции препятствуют движению к еще не сложившейся гражданской нации, а в Европе – затрудняют возрождение идеи нации, а также переосмысление дизайна европейского интеграционного проекта. Вместе с тем, мы разделяем позицию Л. Шевцовой о нарастании признаков, свидетельствующих об исчерпании общественного спроса на постмодерн. Это, на наш взгляд, открывает новые дополнительные возможности реабилитации идеи нации в Европе и ее освоения в России.

***Россия в треугольнике между этническим национализмом, либеральным космополитизмом и имитацией гражданской нации***

 Мы уже не раз отмечали, что в России идея гражданская нации явно не доминирует в массовом сознании. В бытовом языке и политическом дискурсе господствуют традиционные представления о нации, отождествляющие это понятие с этничностью и даже расой. Такое представление фактически поддерживается идеологами разных направлений, и не только теми, кто открыто себя позиционирует как националисты. Многие представители нынешнего российского политического истеблишмента, отрицая свою приверженность национализму в той или иной форме, в своей публичной деятельности отражают такую позицию. Вице-премьер Дмитрий Рогозин в ноябре 2005 года, в бытность свою лидером партии «Родина», оказался действующим лицом видеоролика, который Мосгоризбирком, а затем и суд признали «разжигающим национальную рознь»[[3]](#footnote-3). Вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой, комментируя 23 января 2017 года передачу государственного музея «Исаакиевский собор» в ведение РПЦ, сделал заявление, которое было признано Федерацией еврейский общин России как «националистические, в данном случае юдофобские» и названо «открытым антисемитизмом»[[4]](#footnote-4). Осознавая популярность традиционалистских представлений в России, первые лица государства подчеркивают свою связь с «народностью» по технологии, предложенной еще графом Уваровом: «Православие, самодержавие, народность». Владимир Путин и Дмитрий Медведев постоянно демонстрируют свою православию идентичность, не особо заботясь о защите светского характера Российской Федерации, закрепленного в Конституции. В инструментарии публичных действиях российских лидеров есть и национал-популистская риторика. В 2008 году, представляя избранного тогда (а теперь уже бывшего) президента Д. Медведева, Владимир Путин назвал его «в хорошем смысле таким же русским националистом», как и он сам[[5]](#footnote-5). В 2014 году Путин определял себя уже просто как «самого большого националиста в России»[[6]](#footnote-6). Такая самооценка, видимо, имеет под собой основания; во всяком случае, она подтверждается дискурсом президента России, который в своих публичных выступлениях последних лет не раз повторял формулу, ставшую визитной карточкой русских националистов с XIX века. Это формула о противоположности русской и западной ментальности – русской духовности и западного «своекорыстия»[[7]](#footnote-7).

Либеральные интеллектуалы справедливо осуждают все проявления ксенофобии и этноцентризма, в том числе и со стороны российского истеблишмента, но при этом распространяют этот негативизм не только на этнический национализм, но и на гражданские трактовки понятия «нация». Проблему представляет одностороннее и весьма противоречивое понимание коллективизма, которому в этой идейно-политической среде приписывают сугубо негативные коннотации, хотя поддержание гражданского общества (явления коллективного и требующего коллективизма от его активных участников) здесь же оценивается как благо. Например, известный либеральный мыслитель Александр Морозов справедливо пишет об угрозах деконсолидации общества: «Если вы начинаете работать на раскол собственного общества или на международный раскол, то обратной дороги нет. Никакого примирения не произойдет, и пограничная линия будет стоять десятилетиями, а то и столетиями»[[8]](#footnote-8). Далее он развивает эту мысль, показывая, как ослабление в современном мире социальных институтов, скрепляющих общества (университеты, медиа и идеологические ценности), приводят к общественным расколам. Но после всего этого Морозов пишет об «угрозах нового коллективизма», имея в виду лишь толпу в тоталитарных режимах. Но толпа не является следствием и отражением коллективизма. Еще Эрих Фромм показал, как бюргеры превращались в толпу в результате атомизации общества, поскольку человек-песчинка легче всего поддается массовому внушению и больше других склонен к конформизму. В среде либерально ориентированной части российского общества, за редкими исключениями, не проявляется осознание связи между, с одной стороны, желаемой этой категорией граждан активизацией российского общества, преодолением его гражданской пассивности («ватности»), освобождением от имперских амбиций, и становлением гражданской нации, являющейся следствием и, одновременно, воплощением такого развития – с другой. Наша книга, возможно, является одной из первых в российском обществоведении попыток обоснования *взаимосвязи между развитием гражданского общества*, целесообразность которого мало кем оспаривается, *и становлением гражданской нации*, смысл которой пока мало осознается в России, в том числе и в среде российских либералов. Между тем, такое становление – это практическая реализация важнейшей цели народовластия и политического либерализма, а именно *перехода политической системы от модели формального, номинального гражданства к «гражданству действия»*,то есть к деятельному и свободному участию граждан в формировании представлений о национальных интересах (образа общего блага), в борьбе за их осуществление и защиту.

Даже в последние годы, когда термин «гражданская нация» стал частью официального политического дискурса, его общественное осознание не возросло. Это не удивительно для тех, кто знает о неопределенности ее формулировки и периферийном месте в Стратегии государственной национальной политики. Как мы уже отмечали в пятой главе нашей книги, в этом документе слово «нация» значительно чаще используется в своем традиционном для России значении – как термин для обозначения этнической политики. Анализ Стратегии показывает, что декларируемая в ней приверженность идее гражданской нации в России больше напоминает очередную редакцию доктрины «официальной народности» или давнюю технологию подмены понятий. Однако полного повторения событий в истории не бывает, и некоторые попытки повтора действительно напоминают фарс. В XIX веке граф С.С. Уваров предложил подменить понятие нации идеей народности, а ныне слегка обновленную доктрину «официальной народности»: православие (традиционализм), самодержавие (авторитаризм), народность («особая цивилизация»), – представляют публике как гражданскую нацию. Сделать это тем проще, чем меньше определенности в научном сообществе относительно понятия «нация» в общем и применительно к российскому обществу[[9]](#footnote-9). Нет согласия среди ученых и относительно вопроса о том, существует ли гражданская нация в России (и если нет, то возможна ли она в принципе). По большому счету, есть две крайние позиции, которые мы намереваемся последовательно проанализировать.

Одна из них состоит в том, что российская гражданская нация уже есть. Это официальная позиция российской власти. Более того, как утверждает главный защитник данной концепции академик Валерий Тишков, гражданская нация существовала и раньше – в Российской империи и в СССР, просто под другими названиями. Другая позиция заключается в следующем: во-первых, гражданской нации в России нет, а во-вторых, есть империя. Одни это приветствуют, другие относятся к современной империи крайне отрицательно, однако зачастую «империофобы», так же как и «империофилы», полагают, что изменить сложившийся в России тип взаимоотношений общества и государства невозможно. Стороны этой дискуссии (заочной и необъявленной) не придают значения предупреждениям Э. Ренана об опасности смешения смысла терминов и как будто соревнуются между собой в неточности, метафоричности определений сущности и империи, и нации.

В. Тишков с каждым годом дрейфует в сторону все более расширительных толкований понятия «нация». Вот последнее, от 2016 года: «Таким образом, нация – это воображаемая общность, социальный конструкт, политическая метафора, обладающая мобилизующей силой и имеющая почти всеобщее распространение»[[10]](#footnote-10). Это пример предельно широкого, безразмерного понятия. Производство подобных терминов весьма характерно для современной России. Например, в российской юридической практике такие размытые категории, как «иностранный агент», «политическое участие», «оскорбление чувств верующих», «экстремизм» и др., незаменимы для наказания политически неугодных. Удобны такие понятия и для идеологических упражнений. Но они совершенно неприменимы в аналитических целях для различения исследуемых объектов. Как с помощью такой дефиниции выделить нации из бесчисленного множества «воображаемых общностей, социальных конструктов»? По каким признакам их можно отличить, скажем, от религиозных сообществ, идейно-политических течений или даже сообществ людей, характеризующихся сходством вкусов? К счастью, В. Тишков в той же статье использует более узкое определение, понимая гражданскую нацию как население всякого государства и идентифицирующего себя с ним. Это лучше, все же понятнее, что под нацией понимают не всякую общность, например, не «иностранных агентов». Однако и это определение мало информативно, поскольку в данном случае нациями пришлось бы признать жителей древнейших государственных образований типа Египетского и Вавилонского царства, а также население Римской империи или империй современной эпохи, таких как Австро-Венгерская или Османская. Но против такого толкования выступал еще Э. Ренан. «Нации, – говорил он, – отчасти, новое явление в истории. Древность не знала их. <…> В классической древности были республики и муниципальные государства, конфедерации местных республик, империи, но не было нации в том смысле, как мы ее понимаем»[[11]](#footnote-11). С тех пор вот уже почти полтора века несколько поколений теоретиков нации и национализма придерживаются такого же мнения. В этом отношении позиция Тишкова весьма необычна. В том же упомянутом сборнике статей, определяя в качестве наций жителей всякого государства, включая Ирак, Сирию, Ливию и другие расколотые общества, автор сам же приводит противоположную точку зрения востоковеда, академика В. Наумкина, который отмечает, что применительно к расколотым обществам Ближнего Востока «сложно говорить о целостности наций и даже о самой идее нации»[[12]](#footnote-12). Поражает то, что для подтверждения своей позиции о синонимичности понятий «нация» и «государство», Тишков цитирует высказывания известных авторов, не замечая важных деталей приводимых им цитат, которые вовсе не подтверждают, а скорее опровергают его позицию о необязательности признака демократичности для гражданской нации.

В своей статье из того же сборника соредактор В. Тишкова Елена Филиппова приводит цитату из известной работы А. Степана, Х. Линца и Й. Ядава: «Уверенность в том, что каждое государство должно быть нацией, отражает, вероятно, наиболее распространенное нормативное представление о современном демократическом государстве – т.е. нации-государстве»[[13]](#footnote-13). Дело в том, что подчеркнутая весьма авторитетными авторами характеристика нормативности нации, которая относится только к *современному демократическому государству*, прямо противоречит концепции академика. Вместе с тем, примечательно, что в 2007 году в фундаментальном научном труде того же Института этнологии и антропологии РАН на первых же страницах введения к книге выражалось согласие с идеей Э. Геллнера, согласно которой феномен нации вовсе не присущ любому государству, а проявился в Новое время, в результате возникновения особых предпосылок. Например, такой: «…сплочение нации требовало введения общего культурного кода, которое в немалой мере обеспечивалось выработкой единого литературного языка»[[14]](#footnote-14). Там же отмечается, что в Западной Европе фактором, содействующим сплочению нации через языковую и культурную унификацию, выступала демократия[[15]](#footnote-15). Наконец, в этой же вводной статье излагался тезис о том, что «национализм – категория прежде всего гражданского общества, хотя государство иной раз активно использует его в своих интересах»[[16]](#footnote-16). Так вот, одним из авторов этого введения был В.А. Тишков, одновременно с этим поместивший в тот же сборник текст, в котором он впервые (и, видимо, отчасти неожиданно для самого себя) берется доказывать извечное существование наций на Руси, во всяком случае начиная от Петра I и Екатерины II[[17]](#footnote-17).

Оспаривая внеисторическое существование наций, как якобы имманентной черты всякого государства и, следовательно, присущей не только нынешней, но и императорской и советской России, мы решительно не согласны и с другой крайностью, отвергающей саму возможность становления гражданской нации в России. Так, историк Андрей Тесля, определяя Россию прошлого и настоящего как «имперское политическое образование», полагает, что «здесь невозможна гражданская нация»[[18]](#footnote-18). Мы еще вернемся к этому заявлению, а пока отметим, что оно сугубо декларативное, не подтверждаемое какими-либо аргументами. К сожалению, такой подход – скорее норма, чем исключение в разговорах об империи.

Россию называют империей традиционалисты типа А. Дугина или А. Проханова, вкладывающие в это определение позитивный смысл. Признаки, которые они приписывают империи (государственное величие, религиозное мессианство, противостояние Западу и либеральным ценностям, традиционализм и проч.), являются для них предметом для гордости за свою страну[[19]](#footnote-19). Принципиально другая трактовка у современных российских либералов (по крайней мере, большинства из них), которые вслед за Е. Гайдаром негативно оценивают имперский тип государственного устройства[[20]](#footnote-20). Однако ни те, ни другие, как правило, не дают целостного, систематического описания сущности этого явления, ограничиваясь какими-то отдельными фрагментами. Либеральные авторы чаще всего подчеркивают имперскую территориальную экспансию, вооруженные захваты земель, а консерваторы-традиционалисты, например, А. Дугин – мифологию защиты меньшинств в империях (и это несмотря на геноцид армян в Османской империи и депортации многих народов в СССР). Стоит отметить, что сам отбор признаков, необходимых и достаточных для определения империи, весьма затруднителен. Так, до сих пор наиболее привычным признаком империи многие авторы считают наличие в них колоний (территорий, захваченных метрополией, лишенных самостоятельной политической власти и управляемых в особом режиме)[[21]](#footnote-21). Однако этот признак неприменим для характеристики так называемых континентальных империй, в которых присоединенные (колонизированные) территории не отделялись морями и океанами от «ядра», а были продолжением коренных земель империи. Присоединенные территории чаще всего не представляли из себя колоний в выше указанном смысле этого термина. Некоторые провинции континентальных империй характеризовались более благоприятными политическими условиями, чем центральные регионы. Например, Финляндия в составе Российской империи имела свой парламент (сейм) почти за век до появления российского. Экономическое же отставание регионов ядра империи от ряда провинций наблюдалось не только в Российской, но и в Австрийской и Османской империях. Тем не менее и в континентальных империях проявлялись особые признаки «имперской ситуации». Один из авторов этих строк, Э. Паин, в ряде своих работ выделил и обосновал три основных комплекса признаков империи, или имперского синдрома[[22]](#footnote-22). Прежде чем двигаться дальше, еще раз кратко остановимся на них.

Первичными в этом синдроме выступают признаки, характеризующие «*пространственное тело империи*». Историки Илья Герасимов и Марина Могильнер в своем описании «имперской ситуации» говорят о «параллельном существовании несовпадающих социальных иерархий и систем ценностей»[[23]](#footnote-23). Если использовать эту формулу в более конкретном пространственном смысле, то речь идет о параллельном существовании разных по социальному статусу общностей, каждая из которых и все они вместе находятся в условиях социально-культурной отчужденности (вне зависимости от того, как они были присоединены – насильственно или добровольно) как от ядра империи, так и друг от друга. В России доминирующая «вертикальность» империи, крайне слабое развитие горизонтальных связей между территориальными общностями отражались и закреплялись в организации дорожной сети, которая на всех уровнях территориальной лестницы: уезд (район) – губерния (область) – страна, были ориентированы только на связь с центром. И по сей день людям из какой-нибудь сибирской области добраться в соседний регион быстрее и легче через Москву, чем напрямую.

Разобщенность народов на протяжении длительного времени может служить фактором стабилизации, самосохранения империи, предотвращающим возможность объединения разных групп и народов против имперского центра и поддерживающим потребность в имперской власти в качестве медиатора в межэтнических и межрелигиозных конфликтах. Именно поэтому разногласия между народами искусственно подогревались правителями известных нам империй (знаменитый принцип «разделяй и властвуй»). Однако в условиях ослабления имперского центра, роста массовых миграций, необходимости развития единого рынка и ряда других процессов, быстро нарастающих в XIX и XX веке, сама разобщенность народов, их конфликтность и несовпадающие ценности становятся проблемой для империи и ведут к ее постепенному разрушению.

Другим важнейшим политическим признаком империи является «*имперский порядок*», то есть принудительный вертикально-иерархический принцип подчинения локальных общностей властям, направленный на удержание или расширение имперского тела. Особенность такого политического порядка становится наиболее очевидной при сравнении империи с другой разновидностью составных государств – федерациями или, иначе говоря, с нациями федеративного типа. Федерация – это такой тип государственного устройства, в котором составные части государства (субъекты федерации) обладают самостоятельностью и полномочиями, устанавливаемыми на основе взаимных обязательств и разграничения предметов ведения между федеральной властью и властями субъектов федерации. В империи же центральная власть произвольно меняет «правила игры». Крайней формой произвола отличался Советский Союз, который зарождался как федерация, на основе договора между республиками о создании СССР в 1922 году, однако уже с конца 1920-х годов стали проявляться признаки тоталитарной империи. В это время началась, и до середины 1980-х продолжалась, безудержная перекройка административных границ: республики объединялись и разъединялись, создавались и ликвидировались автономии, отдельные территории передавались из одной республики в другую. Наконец, уже в 1930 году, в процессе коллективизации, началось массовое насильственное выселение целых категорий крестьянства (с разным этническим составом), которые депортировались на Европейский Север, в Сибирь и Казахстан. Наибольшего масштаба такие депортации достигли в 1941-1944 годах, когда со своих территорий было насильственно выселено около 2,5 млн человек[[24]](#footnote-24). Но ведь и в империи Романовых односторонние решения, произвол имперской власти в отношении колонизированных территорий был нормой даже в обращении с такими привилегированными провинциями, как Финляндия. В конце XIX – начале XX века, эта провинция империи испытала на себе изменения курса России в сторону большей централизации и русификации окраин. В 1899 году устанавливается единоличное право царя как Великого князя Финляндского издавать законы без согласования с представительными органами власти Финляндии. В следующем году русский язык объявляется государственным (наряду с финским и шведским). В 1901 году издается закон о призыве финнов в российскую армию, а финские вооруженные силы упраздняются. Наконец, в 1910-м распускается финский парламент. Неудивительно, что такая политика напрямую способствовала росту финского национального движения, которое выражалось в кампаниях массового гражданского (в основном, ненасильственного) сопротивления[[25]](#footnote-25).

«Власть над многими народами без их на то согласия»[[26]](#footnote-26) – этот признак во все времена был самым важным и, вместе с тем, наиболее уязвимым в имперском синдроме, поскольку культурная специфичность этнотерриториальных общностей является мощным ресурсом их внутренней мобилизации и сопротивления принудительной власти. Игорь Клямкин справедливо отмечает следующую закономерность: «Одна из исторических функций империй (по крайней мере, Нового времени) в том, что они, того не желая, продвигают подчиненные территории, где государственность не вызрела, к обретению государственного качества. А когда продвинут, те ждут, когда имперский центр утратит силу принудительного подчинения. Войну, скажем, проиграет или в системном политико-экономическом кризисе увязнет. Бывает, что освобождения добиваются в национально-освободительных восстаниях, бывают, что обходятся без оных, как республики бывшего СССР»[[27]](#footnote-27). Таким образом, некоторые имманентные процессы в развитии империи в эпоху модерна сами же и подрывают основу их существования.

И, наконец, третий неотъемлемый признак империи – «*имперское сознание*» – сознание подданных, не воспринимающих себя ни как коллективного хозяина страны, ни как правомочных и ответственных граждан. Исторический переход от империи к нации, в конечном счете, связан с переходом от сознания подданных к сознанию граждан через освоение идеи народного суверенитета. Это самый сложный и длительный элемент процесса трансформации империи в национальное государство, иногда растягивающийся на многие десятилетия и, как правило, сопровождающийся попятными движениями. С. Хантингтон ввел в научный оборот понятие «обратной волны» (*rеverse wave*) демократизации и обосновал почти неизбежные временные отступления ранней демократии под напором традиционных и более укоренных в жизни народов недемократических режимов. Анализируя три волны глобальной демократизации, которые привели к росту на планете числа стран с демократической формой правления, он показал, что на каждом этапе обратная волна вымывала значительную часть новообращенных стран из зоны демократии и вновь уносила их к традиционному авторитаризму[[28]](#footnote-28).

Так или иначе, после Второй мировой воны почти все признанные независимые государства (кроме теократического Ватикана) захотели вступить в Организацию Объединенных Наций, позиционируя себя в качестве демократических государств-наций (или наций-государств). Такое позиционирование указывает на то, что с середины XX века статус национального государства стал знаковым и престижным, хотя меньшинство стран мира в это время реально обладали признаками как демократий, так и национально-гражданских отношений. Разрыв между нормативным, престижным статусом и реальностью породил спрос на имитацию, на производство идеологических, пропагандистских суррогатов демократии и гражданской нации. Далеко не только в России придворные идеологи конструировали широкие, мягкие, «резиновые» определения демократий и гражданских наций, чтобы упаковать и скрыть в них реальность, далекую от нормативной. Особенностью современной России в этом отношении можно считать лишь беспредельный, какой-то эпический масштаб идейно-политической эклектики, позволяющей соединять в одной политике несочетаемые явления и цели. Например, ныне в российской официальной пропаганде термин «либеральная демократия» используется исключительно в негативном смысле в сочетании с эпитетами «гнилая», «лживая», «агрессивная». Все эти клички нужны для обозначения врагов России – внешних (зловещего Запада) и внутренних («пятая колонна»). В то же время официальные лица решительно опровергают какие-либо упреки тех же западных наблюдателей в отклонении нашей страны от либерально-демократических норм, таких как свобода совести, свобода выбора, право на независимый суд и др. Такое же противоестественное сочетание представляет собой популистская поддержка российским истеблишментом идей имперского национализма (ностальгии по временам классических империй, ресентимент и различного рода этнические фобии), с одной стороны, а с другой – утверждение в государственной стратегии цели развития «гражданской нации». Так как же определить Россию, как империю или нацию?

***Россия: уже не империя – еще не гражданская нация***

На наш взгляд, с момента принятия Конституции 1993 года можно говорить о появлении в России первых признаков государства-нации или, еще точнее, некоторых базовых предпосылок становления гражданской нации. Конституционная модель России признает принцип народного суверенитета («Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ», ст. 3, п. 1 Конституции) и правового государства (универсальное юридическое равенство российских граждан на всей территории, ст. 5, п.2). Эта Конституция, в отличие от всех предыдущих, не только предполагает равенство прав граждан России, но и содержит процедуры избрания властей федерации и ее субъектов на основе реферндума и свободных выборов (ст. 3). Конституционный статус России как федеративного государства-нации не позволяет делать безапелляционные заявления о том, что Россия в принципе не может быть таковым.

Мы уже показали в нашей книге, что реальные условия в России существенно отличаются от декларируемых в законах, в том числе и в Конституции. Тем не менее, правовой статус Российской Федерации в качестве государства-нации является определенным политическим ресурсом в развитии гражданской нации. В случае эволюционной трансформации России, политические силы, выступающие за развитие гражданской нации, будут использовать инструментарий, отраженный еще в лозунге советских диссидентов: «Соблюдайте вашу конституцию». Напомним, что началом выхода балтийских республик из СССР стала их апелляция к советским же законам. Например, в проекте Конституции Литовской ССР (1988) говорилось, что отношения республики с Союзом ССР строятся на началах, закрепленных в договоре Об образовании СССР от 29декабря 1922 года. Идея соблюдения своей же российской конституции, даже если открыто не артикулируется, предполагается самим фактом использования легальных методов политической борьбы и апелляции к закону. В ближайшей перспективе такая форма воздействия на процесс реального развития гражданской нации представляется нам наиболее вероятной.

Есть и другие предпосылки развития в России государства-нации. К концу 1990-х годов этнический сепаратизм престал быть массовым, каким он был в 1989-1992 годах во времена «парада суверенитетов». Его заметные проявления отмечались лишь в Чеченской республике, а к концу 2000-х годов сепаратизм не проявлялся как сколько-нибудь влиятельная сила ни в одном из субъектов Федерации. На всей ее территории понятен для всего населения и повсеместно широко используется русский язык. Существует в России и общее культурное пространство, являющееся необходимым условием для освоения гражданами страны хотя бы минимума общих политико-правовых норм, а также для преодоления гражданской разобщенности и обеспечения того, что Э. Ренан называл «повседневным плебисцитом», то есть морального подтверждения существование нации как целостности. Вместе с тем, в реальной эволюции российской нации наблюдается не только формирование предпосылок ее становления, но и противоположные процессы сохранения и даже укрепления имперского синдрома.

Опираясь на данные Левада-Центра за 2006-2015 годы, мы показали, что важнейший признак гражданской нации – гражданская субъектность, народный суверенитет – практически не прослушивается в пульсе страны. Подавляющее большинство россиян устойчиво отмечают, что они не оказывают какого-либо влияния ни на политическую, ни на социально-экономическую жизнь как во всем государстве, так и в своем регионе, городе или районе. Те же исследования показывают, что стремление формальных граждан России участвовать в политической жизни, влиять на нее, падает по сравнению с 1990-ми годами[[29]](#footnote-29). Важно подчеркнуть, что этот регресс никак не связан с некими природными свойствами населения России, с какими-то особенностями русских как его этнического большинства. Те же русские, в том числе и родившиеся в СССР, прекрасно доказывают свою способность к гражданской активности и демонстрируют способности к освоению либерально-демократических норм в странах, где такие нормы не подавляются властями. Например, в Латвии русские составляли, по данным переписи 2011 года, более четверти населения (26,9%), в Риге – почти половину, а в Даугавпилсе – более половины жителей. Поддерживаемое, прежде всего, русским населением политическое объединение «Центр согласия» победило на выборах в латвийский сейм в 2011 году, а его лидер Нил Ушаков является мэром Риги с 2009 года.

В России же участие граждан в общественной и политической жизни не только не поощряется, но всячески подавляется властями за счет мифологизаци сознания, пропаганды и использования репрессивных мер. Вместо поощрения существующих предпосылок, позволивших бы нации реализовать себя, российские власти выстраивают фасад «единства», «духовных скреп» и «межнационального согласия», призванный скрыть фактическую профанацию проекта гражданской нации. Совокупность политических инструментов, используемых властями, вводит историческое сознание россиян в состояние летаргии. В нем ныне отсутствует не только национальное согласие относительно ключевых периодов и событий прошлого страны, но и их моральная оценка[[30]](#footnote-30); а потому массовое сознание в высокой степени поддается манипуляциям, в том числе относительно политики власти по созданию удобного и приемлемого прошлого за счет скрещивания советских и монархических символов. Проявляется тенденция к восстановлению советских авторитарных институтов в новых формах.Рядом с новым вождизмом, новой системой пропаганды, новой политической полицией возрождается и неосоветский официальный язык. Подобно тому, как российская дипломатия заново освоила агрессивный язык, напичканный пропагандистскими штампами времен холодной войны, в России к настоящему моменту вызрел и новый-старый дискурс «национальной политики». Изменились лишь лозунги и этикетки: «дружба народов» превратилась в «полиэтническую цивилизацию»с особым «культурным кодом». Стратегия национальной политики 2012 года способствует «бронзовению» такого дискурса. По сути, ее главнаяфункция – придание новой «официальной народности» действительно официального статуса. Последним показательным примером этой «имитационной» политики является инициатива разработать «закон о российской нации», высказанная на заседании Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ в октябре 2016 года и поддержанная Владимиром Путиным. Однако, чем больше воспроизводится архаичная имперская ситуация, тем актуальней вопрос: не приводит ли такая практика к долговременным проблемам и растущим дисфункциям в социально-экономической и политической системе?

На наш взгляд, российское общество переживает, но пока не осознает, *кризисное состояние* *своей постимперской ситуации*. Этот кризис равзивается медленно и неравномерно, но неуклонно, и связан он со *столкновением унаследованногого «имперского тела» и «имперского порядка» с новыми социльными, экономическими и политическими условиями*. Россия – это составное государство, унаследовашее от имперской системы прошлых столетий «имперское тело», то есть многочисленные ареалы компактного расселения ранее колонизированных этнических сообществ, обладающих собственными традиционными культурами. Пока горизонтальные гражданские формы связи слабы, вопроизводится «имперская ситуация» паралельного и разобщенного фукционирования таких общностей, связанных только через подчинение общему центру. Фактически неравные статусы таких территогрий и разная мера благоволения к ним со стороны верховного правителя – явление для России не новое. Не новы и механизмы передачи власти над «сатрапиями» местному правителю-вассалу. Положение Бухарского эмирата в Российской империи в некоторых деталях поразительно напоминает ситуацию с новыми «эмиратами» в Российской Федерации. С 1868 года правителями Бухары стали эмир Музаффар, объявивший за некоторое время до того газават (священную войну) России, и его наследники. Точно так же в 2000 году (сначала как глава временной администрации, а затем как президент) лидером Чечни стал Ахмат Кадыров, ранее (в 1994 году) объявивший газават России, и его наследник Рамзан Кадыров, участвовавший в этой священной войне. Все похоже, но только ныне неравные статусы территорий вступают в противоречие с конституционной нормой о равноправии субъектов Федерации, и при случае этим могут воспользоваться силы, недовольные неравенством в распределении средств из единого государственного бюджета. Это неравенство и сегодня все болезненнее воспринимается как элитой, так и населением соседних территорий в условиях куда более единого, чем в империи Романовых, информационного и политического пространства России. И тот факт, что правитель Чечни не подчиняется решениям не только министра образования, но и Верховного суда РФ, не остается незамеченным и сильнейшим образом подрывает общероссийское доверие к государственным институтам[[31]](#footnote-31).

Изменилась и демографическая ситуация со времен Российской империи и СССР. Тогда численность русского населения в колонизированных районах росла, а сейчас она сокращается практически повсеместно в республиках. И эта ситуация порождает множество конфликтов. Например, именно в последние годы конфликтность все чаще проявлется в вопрсах национальных языков республик Российской Федерации. На их изучении в государственных школах настаевает местная элита, и закон на ее стороне, но этой практике сопротивляется русское население, особенно там, где оно пока составляет относительное большинство, которое быстро сокращается[[32]](#footnote-32). И еще раз обратимся к недавней истории выхода балтийских республик из СССР, начальной точкой которого была борьба этих республик (1987-1988 годы) за установление статуса национального языка как реально государственного.

Больше всего воспроизводству традиционной имперской ситуации препятствует такое новое обстоятельство, как радикально возросшая в постсоветские годы социальная и территориальная мобильность населения. В эпоху классических империй народы, как колонизированные, так и жители метрополии, веками сохраняли свои особые уклады, поскольку бóльшая часть населения рождалась и умирала в границах своих этнических территорий. По переписи 1926 года, даже после пертурбаций гражданской войны, только 25% населения СССР жили за пределами мест, где они родились, тогда как по данным последней российской переписи 2010 года, таких было уже более половины (53,8%)[[33]](#footnote-33). Террриторальная мобильность в Российской Федерации иная, чем была в СССР. И масштаб, и структура миграционных потоков изменились как за счет прироста «вынужденной миграции» из зон постсоветских конфликтов, так и за счет свободной миграции, когда люди сами выбирают себе место жительства. В Совестокм Союзе свободные премещения сдерживались государственным регулированием перемещения населения, институтом прописки, дефицитом жилья и отсутствием собственности на него. Так или иначе, по словам Ж. Зайончковской, после распада СССР свободное миграции в пределах России, а также отток людей из страны и особенно приток в нее из бывших постсоветских республик существенно возросли и стали более разнообразными по сравнению, например, с 1980-мы годами[[34]](#footnote-34). Россия получила «беспрецедентно высокий миграционный прирост». В расчете на год он был в 2 с лишним раза больше, чем в 80-е годы»[[35]](#footnote-35).

В сложившихая условиях миграции из бывших инокультурных окраин в бывший имперский центр создают условия для широкого распространения расизма и ксенофобии, которые становятся частью компенсаторного, «оборонительного» сознания населения экс-метрополии, переживающего распад имперского пространства. В 2011-2013 годах по городам России прокатилась серия столкновений местных жителей с мигрантами. Вначале беспорядки затронули, в основном, небольшие города и поселки (Сагра, Демьяново, Пугачев и др.), а в 2013 году они перекинулись на крупнейшие города и их агломерации – Бирюлево в Москве, рынок «Апраксин двор» в Санкт-Петербурге. При этом ксенофобия достигла максимума за все время социологических наблюдений в этих городах в постсоветскую эпоху[[36]](#footnote-36). В 2014-2015 годах ситуация вновь изменилась – ксенофобия по отношению к мигрантам из Средней Азии и Кавказа снизилась, внимание общества было переключено на события в Крыму и на Донбассе. Однако значительный потенциал ксенофобии по отношению к выходцам с Северного Кавказа и из стран Центральной Азии сохраняется. За тем фактом, что колониальные завоевания этих территорий в прошлом были наиболее продолжительными, кровавыми и дорогостоящими, очевидно, скрывается нечто большее, чем просто ирония истории.

В России постимперский синдром ощущается гораздо более остро, чем во многих других странах с имперской историей. Конечно, после распада СССР и Чеченской войны на данный момент прошло существенно меньше времени, чем после завершения французской войны в Алжире (1962) или отмены расовой сегрегации в США (1965). Однако более существенно то обстоятельство, что с тех пор Россия существенно не продвинулась в сторону политической модернизации и создания правового государства. Если в развитых странах с колониальным наследием ему было противопоставлено укрепление гражданских связей и защита прав меньшинств[[37]](#footnote-37), то в России, по сути, лишь нечто вроде реинкарнации советского дискурса о «дружбе народов». В этих условиях характерно, что массовые волнения, вспыхивающие в российских городах на этнической почве, проявляются как выражение недовольства со стороны представителей этнического большинства, которое направляет его на меньшинства. Участники этнических бунтов в России, в отличие от относительно сходных городских столкновений в тех же Франции или США, не обращаются напрямую к государственным органам (полиции, судам) с требованиями, чтобы те добросовестно исполняли предписанные законом функции. Напротив, толпа требует вершить «правосудие» самостоятельно и наказать виновников того или иного конкретного происшествия, послужившего катализатором волнений. Будучи отчужденными от институтов власти, от государства, протестующие действуют в логике своей отчужденности, не пытаясь ее преодолеть. В России, таким образом, аномия проявляется не столько в отсутствии институтов и механизмов, которые позволили бы достичь доминирующие в культуре ценности (случай западных стран), сколько в слабости норм и отсутствии моральных ориентиров, в том «бесформии» общества, о котором писал еще Дюркгейм. Люди не верят в саму возможность повлиять на ситуацию на местном уровне и в масштабах страны. В такой ситуации бунт, вспышка массового недовольства, приобретающая черты этнорасового насилия, является проявлением слабости реальных социальных связей, низкого доверия и отсутствия политической культуры участия.

Важнейшим следствием нереализованности проекта гражданской нации как раз и является *слабеющее доверие к общественным институтам и к другим членам сообщества*, осознанная и активная солидарность в котором подменяется пассивной лояльностью правителю и высшему начальству. Вернемся в этом контексте к словам историка Андрея Тесли. Его позиция сходна с нашей в утверждении о том, что нынешний дискурс о «российской нации означает быть лояльным подданным, лояльным правителю, прежде всего» и тем самым характеризует имперскую, а не национальную модель , поскольку «нация и подданные — это уже противоречие»[[38]](#footnote-38). Вместе с тем этот автор – наш оппонент, когда говорит: «На мой взгляд, нет ничего плохого в том, чтобы быть империей, быть имперским политическим образованием, но это означает, что здесь невозможна гражданская нация, здесь невозможна подобная организация жизни народа, слишком высока ее стоимость»[[39]](#footnote-39). Мы утверждаем прямо противоположное: сохранение нынешнего эклектического монстра – *уже не империи, но еще не нации* – представляет собой нарастающую проблему, при этом уже есть методики не метафорического, а вполне конкретного расчета стоимости нарастающих издержек от воспроизводства нынешней политики. Накапливается все больше доказательств того, что Россия уже не может жить так, как жила в эпоху классических империй. И дело не только в том, что внешний мир ей этого не позволяет; ее внутреннее устройство включает в себя обширные пространства, занятые новыми институтами, прежде всего экономическими, которые буквально задыхаются в условиях низкого общественного доверия, подавляемого авторитарным государством.

Более 20 лет назад Фрэнсис Фукуяма выдвинул предположение о том, что общества, характеризующиеся высоким межличностным и институциональным доверием (такие как США, Япония и Германия), добиваются более высоких экономических результатов по сравнению с «европейскими легковесами» (Франция и Италия), традиционалистскими (например, Китай и Мексика) обществами, где доверие редко выходило за рамки семьи, и особенно постсоциалистическими странами[[40]](#footnote-40). Российский случай в этом смысле несколько особый, поскольку наряду с последствиями коммунистического прошлого (и во многом из-за него) в нашей стране даже традиционные механизмы и формы доверия были разрушены или существенно ослаблены. Многочисленные сравнительные исследования подтверждали различия в уровнях доверия указанных типов обществ, но долгое время эти исследования не были подкреплены экономическими расчетами, которые появились лишь в последние годы. В целом, исследования подтверждают наличие «цикличной» взаимосвязи между экономическим развитием и общим уровнем межличностного и институционального доверия. Суммируя их результаты, эксперт Л. Бершидский следующим образом описывает эту взаимосвязь: «Если институты и межличностные отношения не приносят благополучия, они не заслуживают доверия. А если людям и институтам нельзя доверять, у них нет никаких стимулов стремиться к благополучию»[[41]](#footnote-41).

Однако последствия низкого уровня доверия в разных социально-политических условиях оказываются неодинаковыми. Например, более половины населения Украины доверяет только армии, церкви и добровольческим организациям, изначально не доверяя государству. По мере того как население сталкивается с серьезными трудностями в процессе реформ, доверие к властям падает еще сильнее: подавляющее большинство украинцев уверено в том, что правительство руководствуется исключительно своими корыстными интересами[[42]](#footnote-42). Похожая ситуация складывается в ряде других стран, в которых преобладает низкая ценность государства как института (например, Италия, Греция, Румыния). А в странах, где исторически господствовал этатизм (Россия, современные Венгрия и Польша), властям удается компенсировать низкое межличностное и институциональное доверие за счет негативной консолидации перед лицом внешних врагов. «Тем не менее, – отмечает Бершидский, – монополия во власти и расширение полномочий правительства приводят к чрезмерному контролю и коррупции, замедляют развитие экономики и воспитывают недоверие как среди правящего слоя, так и среди народа»[[43]](#footnote-43). Никому не верящее государство рано или поздно стимулирует рост недоверия к себе, а также горизонтальное недоверие в обществе.

Фундаментальные факторы, побуждающие вертикальные имперские и постимперские режимы трансформироваться в государства-нации в наше время все те же, что и на заре эпохи модерна, а именно: нарастание дисфункций по мере вхождения в плотные слои новой социально-политической обстановки в мире. Процесс национального строительства всегда длительный, растягивающийся на десятилетия, если не века, поскольку он связан с многочисленными пробами и ошибками на пути адаптации к новым условиям. В России же он особенно тернистый, учитывая длительность существования здесь имперского режима и уже веками отработанной технологии камуфляжа старых моделей и имитации новых. Наконец, необычайную сложность процессу национально-гражданской консолидации в России придает то обстоятельство, что в странах Запада усиливаются процессы фрагментации общества, что сразу же понижает уровень межличностного и индивидуального доверия.

Уровень доверия к институтам в наиболее развитых странах западного мира, включая США, Великобританию и Францию, пока выше, чем в Восточной Европе, однако именно в названных трех странах доверие падает наиболее быстрыми темпами[[44]](#footnote-44). По данным американской аналитической компании «Edelman», практически повсеместно, особенно в западных странах после экономического кризиса 2008 года, наблюдается растущий «разрыв доверия» (*trust gap*) между «информированной частью общества» и «массовым населением» в их отношении к ключевым институтам, таким как образование, СМИ и особенно исполнительная и законодательная власти государства[[45]](#footnote-45). Именно последняя категория граждан характеризуется быстрым снижением доверия к этим институтам при сохранении или даже росте доверия к узкому сектору консервативных институтов – армии, полиции и бизнесу. В этих условиях Запад перестает казаться россиянам «сияющим Градом на холме» и все больше демонтирует иной тип глобальной проблемы – растущую социальную разобщенность гражданских наций.

 ***Национальный раскол в демократиях Запада: восстание элит и предательство демократии***

Западный мир переживает трудные времена. Его политические и интеллектуальные круги завороженно наблюдают за цепью драматических перемен в ожидании худшего. Трансформация мирового порядка, в котором коллективный Запад во главе с США раскалывается на части и постепенно утрачивает главенствующую роль, переплетается с внутренним кризисом западных обществ, утративших чувство стабильности. Наблюдатели, побывавшие на последней Мюнхенской конференции по безопасности (17-19 февраля 2017 года), отмечают «удивительное ощущение неуверенности Запада в себе, которое контрастирует с самоуверенностью, которая на протяжении многих лет царила на подобных форумах»[[46]](#footnote-46). О потере ориентиров пишут видные западные и в частности европейские интеллектуалы. Если еще «в начале 1980-х западный мир был убежден в том, что создает процветающее общество», то теперь эта вера в свои силы «уступила место неуверенности, страху и безысходности», – говорит французский философ Эдгар Морен[[47]](#footnote-47). Грустное сожаление об исчезающей картине мира, в которой Европа – идеал развития, символ прогресса для самих европейцев и ценностный ориентир для остальных, отражает общее настроение не только европейских мыслителей, но и сочувствующего прогрессивного класса в России. «Оставшись одна в истории – Америка слиняла (после избрания Трампа – Э.П. и С.Ф.), Россия надолго превратилась в источник мелких пакостей и крупных провокаций, – она [Европа] становится единственной надеждой человечества», – пишет либеральный публицист Алексей Поликовский[[48]](#footnote-48), вытесняя заметное беспокойство наигранным оптимизмом в духе *fin de siècle*.

 Уже упоминавшийся кризис доверия, охвативший страны Запада (и, разумеется, не только их), имеет многочисленные социальные, экономические и политические предпосылки. Этот кризис отражает глубокие трансформации последних десятилетий, во многом изменившие облик западных обществ. Прежде всего, эти общества стали значительно сложнее и разнообразнее в этническом и культурном отношении. Потоки мигрантов в богатые страны глобального Севера с куда менее преуспевающего Юга вызвали изменение общественных и государственных институтов принимающих стран, хотя бы потому, что многие из мигрантов сильно отличаются по культуре от большинства их населения. Вместе с тем, если прежде переезд в другую страну, как правило, означал путешествие в один конец, то в современном мире это уже совсем не так: связи с родиной можно поддерживать как на дистанции (при помощи телефона и Интернета), так и преодолевая расстояния благодаря высокоскоростным средствам транспорта. Эмансипация меньшинств, трансформация модели семьи и общая либерализация нравов также существенно изменили общества Запада. С нарастающими оборотами коммерческой и информационной глобализации в экономике этих стран с 1970-х годов наблюдались процессы замедления экономического роста, деиндустриализации целых районов, дерегуляции трудовых отношений и распространения неполноценной, ущемленной в правовых и социальных гарантиях занятости. Все это ударило прежде всего по рабочему классу и наибольшей части средних слоев (*lower middle class*), с благополучием которых принято связывать устойчивость демократических политических систем.

В более сложных, культурно гетерогенных и эмансипированных обществах, где происходят болезненные экономические перемены, а дистанция между управляющими и управляемыми становится все более осязаемой, с неизбежностью возникает вопрос: а что объединяет между собой иммигрантов и местное население, «меньшинства» и «большинство», бедных и богатых, элиты и массы? Что их связывает в единое общество поверх множества видимых различий? Образуют ли они, как в прежние времена, единую нацию граждан, для которых чувство социальной солидарности и преданность общему благу еще что-то значат? Все это *вопросы национального согласия и национальной идентичности*, которые не один год вызревавшие в лоне западных обществ, прежде чем выйти наружу в форме «трампизма», Брексита и антиевропейского популизма. Парадокс демократий Запада заключается в том, что в определенный момент правящие элиты самоустранились от поиска ответов на эти вопросы. Влиятельный американский социолог Кристофер Лэш назвал данный феномен «*восстанием элит*»[[49]](#footnote-49).

Наиболее богатые и влиятельные группы всегда отличались от непривилегированных классов не только по социальному статусу, но и по соответствующему образу жизни. Однако в прошлом, доказывал К. Лэш, элиты являлись неотъемлемой частью своего городского сообщества и публично выражали преданность сообществу национальному. Несмотря на собственное благополучие, они находились в курсе проблем, с которыми изо дня в день сталкивались их сограждане в своей обычной жизни. Сегодняшние «привилегированные классы – в их расширительном определении: наиболее преуспевающие 20% населения»[[50]](#footnote-50), напротив, живут обособленной от остальных жизнью не только в социально-символическом, но и в непосредственном географическом смысле. Богатые пригороды и люксовые кварталы мегаполисов отделают их мир от мира «плохих новостей» и чуждых им проблем, таких как «спад производства с последующей потерей рабочих мест; сокращение среднего класса; возрастающее число бедных; ползущая вверх преступность; процветающая наркоторговпя; упадок городов»[[51]](#footnote-51). Если раньше успех привилегированных групп был связан с репутацией, приобретаемой делами на благо жителей местного сообщества и всех соотечественников, то теперь он в большей мере зависит от индивидуальной мобильности, полезных знакомств и личных связей, приобретающих все более глобальный характер. Лишенные обратной связи с «простым народом», политические, медийные, экономические и художественные (условный Голливуд) элиты в значительной мере утратили узы солидарности с согражданами и чувство ответственности перед своей страной. Описывая США в начале 1990-х годов, Лэш писал, что многие представители привилегированных слоев «перестали считать себя американцами в каком бы то ни было значимом смысле, связанном с судьбой Америки, в счастье или в несчастье. Их привязанность к международной культуре работы и отдыха – коммерции, индустрии развлечений, информации и “информационного поиска” – делает многих из них глубоко безразличными к перспективе американского национального упадка»[[52]](#footnote-52). К весьма близким выводам чуть позже пришел и Сэмюэл Хантингтон в своей последней крупной монографии о вызовах американской идентичности[[53]](#footnote-53). Но, похоже, то же можно сказать и о демократиях Старого Света, где правящие и высокостатусные группы соблазнились проектом европейской интеграции в том виде, который предполагает устранение любых национальных особенностей. Отметим, что именно с космополитическим «отрывом» элит от образа жизни, проблем, ценностей и ожиданий большей части населения своих стран социолог Лэш связывал деградацию политических дебатов и фактически предательство элитами демократических идеалов.

***Популизм – обратная сторона элитизма***

Партийно-политическое устройство западных демократий также претерпело существенные изменения: кризис системы массовых партий привел к становлению «аудиторной демократии»[[54]](#footnote-54), в которой тон задает уже не партийный актив, а всевозможные эксперты-технократы и шоумейкеры. В этой новой системе граждане чаще всего довольствуются «пассивной» ролью наблюдателей, склонных к вуайеризму (ежедневному наблюдению за жизнью политиков и знаменитостей) и аккламации тех или иных политических решений[[55]](#footnote-55). Владея словом в дискуссии, привилегированные классы оказываются более неспособными услышать чаяния страдающих или чувствующих отчуждение групп населения. Последние, в свою очередь, отказывают в доверии влиятельным слоям и управляемым ими государственным институтам. За тем, что в прессе и доминирующем политическом дискурсе обычно трактуется как «рост (крайне правого) популизма» и «возрождение национализма», с этой точки зрения зачастую скрывается попытка широких масс обрести утраченный голос и указать правящему классу на свою преданность (и его равнодушие к) вопросам общего блага и национальной идентичности. Проблема заключается в том, что народное недоверие быстро «присваивается» статусными авантюристами типа Сильвио Берлускони или Дональда Трампа, облекающих по сути *политические* требования – восстановление лояльности элит интересам общества и государства – в форму своего рода «анти-политики» (*anti-politics*). На самом деле, как доказывает британский социолог Франк Фуреди, их «антиполитическая» позиция является вовсе не альтернативой правительству технократов, а его зеркальным отражением, не имеющим позитивной программы действий[[56]](#footnote-56). По сути, на смену глобализированным элитам и представляющим их экспертам, объясняющим населению, что «альтернативы нет» (*there is no alternative*), приходят люди, демонстративно презирающие государственные институты и рассматривающие политику как театр марионеток в руках крупного бизнеса. Другими словами – технократы иного разлива.

Само появление на политическом горизонте персонажей, подобных Берлускони и Трампу, и тем более их стремительное восхождение на вершины власти в странах с длительной демократической традицией отражает упадок гражданского духа и девальвацию в обществе уважения к государственной деятельности. Избрание на пост президента США Д. Трампа, абсолютно не имевшего опыта государственного управления на национальном и даже локальном уровне, – весьма впечатляющий пример потери представлений о сложности государственного управления и его специфичности в отличие от коммерческой деятельности: миллиардер-спекулянт – совсем не обязательно хороший политический деятель, как раз выше вероятность обратной связи. Что, кстати, прекрасно иллюстрирует пример С. Берлускони, «откатавшего» модель за два десятилетия до Трампа: медиамагнат и владелец футбольного клуба «Милан», дебютирующий в итальянской политике в возрасте 57 лет, наспех сколачивает политическую партию по примеру футбольного команды и с футбольным названием («Вперед, Италия») и через два месяца побеждает на национальных выборах, получая кресло премьер-министра.

Важным следствием падения доверия к государству и госслужбе в странах Запада является рост произвола в сфере управления. Тот же Трамп в первые недели своего президентства не раз демонстрировал проявления произвола в принятии важных решений. Он подписал указы, некоторые из которых либо сразу же отвергались судом, либо почти немедленно корректировались самим же президентом, при этом в важных формулировках. Американский ученый Эзри Сулейман еще начале 2000-х годов писал об опасности такого развития событий и отмечал угрозы этого для существования эффективной демократии, поскольку «без профессиональной бюрократии демократическое общество не сможет сохранить себя»[[57]](#footnote-57). Специалисты в области государственного управления (*Public Administrtion*) пришли к выводу, что в целом позитивные реформы, направленные на сжатие государственного аппарата и его удешевления (концепция, известная под названием *New Public Management*), порождал ряд фундаментальных проблем в тех случаях, когда не сопровождался ростом или, по крайней мере, сохранением *гражданских духа, пафоса и целей управления и участия в нем*[[58]](#footnote-58). Если государственный служащий утрачивает представление о своей роли в служении обществу, то госаппарат неизбежно проигрывает конкуренцию за профессиональные кадры бизнес-структурам как по оплате труда, так и по престижу и перспективности деятельности работника. Это приводит к депрофессионализации госслужбы, к стягиванию в нее наименее квалифицированных кадров. Ныне последствия такого развития событий все более заметны в период гигантского усложнения задач управления, в эпоху глобализации с ее новыми и трудно предсказуемыми процессами, рисками и проблемами – экономическими, миграционными, экологическими, геополитическими и др.

В нашей книге обсуждались различные формы критики национального государства и самой идеи нации, будь то критика с философских, эстетических, социально-политических или моральных позиций. Во всех случаях она исходила от образованного и преуспевающего класса людей – ученых, философов, публичных интеллектуалов, артистов, бизнесменов и политических лидеров. Одновременно с этим возрастала мода на все, что связано с феноменами «транс-» и «постнационализма», «глобального гражданского общества» и «европейской демократии». Рамки национального государства показались космополитизировавшимся либеральным элитам слишком тесными, а привязанность к национальному сообществу – анахронизмом в мире возрастающего разнообразия. Тем более непонятной и возмутительной в их глазах предстала реакция «консервативных масс», голосующих за контрэлитные группировки с их радикально-националистическими и агрессивными лозунгами, а то и вовсе демонстрирующих (например, посредством абсентеизма) тотальное разочарование в политике, демократии, государстве, одним словом – «системе». Пожалуй, ничто так наглядно не иллюстрирует глубину национального раскола западных обществ в начале нынешнего столетия, как трактовка охватившей их волны национал-популизма со стороны либеральной и прогрессисткой публики. Можно выделить несколько важных характеристик данного подхода.

Прежде всего, подъем националистических настроений рассматривается большинством экспертов, комментаторов и журналистов как примитивная реакция неких хтонических сил, оспаривающих очевидные достижения открытого общества – социальный мир, терпимость, свободу передвижения (миграции), ценность разнообразия... Одновременно, защита нынешнего порядка вещей в этом дискурсе приобретает черты обороны осажденной цивилизации от нарастающего напора варварства и трайбализма. Избрание Трампа на пост лидера мировой сверхдержавы и Брексит в Великобритании были восприняты левой и либеральной общественностью этих стран, а следом и на европейском континенте, как мрачное предзнаменование грядущей катастрофы[[59]](#footnote-59). Правящие круги и в значительной мере медийная среда с новой силой принялись взывать к созданию барьеров на пути «возрождающегося национализма». Слово «национализм» в современном политическом языке Запада итак однозначно прочитывается как негативная стигма (в том числе и самими национал-популистами, предпочитающими именовать себя «патриотами»), но и указание на «возрождение» здесь не случайно: оно недвусмысленно отсылает к Межвоенному периоду, отмеченному в Европе появлением и распространением фашизма. Однако с научной точки зрения сравнения современных национал-популистских партий с фашизмом выглядят весьма сомнительно[[60]](#footnote-60): в отличие от фашистских движений прошлого (и настоящего), цели современного популизма идентичности носят отнюдь не мессианский и не революционный, а «оборонительный» характер. Лозунг «Мы у себя дома!» (*On est chez nous !*), непременно сопровождающий собрания и акции сторонников французского Национального фронта, отражает суть идеологии всех подобных движений – защитить, путем акцентирования и противопоставления, «нашу идентичность» и «наш образ жизни» перед лицом иммиграционных потоков, ислама и европейской интеграции/глобализации. Национал-популисты новой волны не стремятся к уничтожению демократической системы, но последовательно играют по ее правилам. Оппонируя модели либеральной демократии (так, как мы ее себе *сегодня* представляем), современные национал-популистские движения выступают с проектом преобразования последней с позиций монокультурализма и «урезанного» либерализма, очерченного национальными границами. Условием доступа к плодам таким образом понимаемой свободы (равно как и другим общим благам) провозглашаются, во-первых, готовность принять господствующие в обществе культурные образцы поведения, и во-вторых, публичная демонстрация лояльности нормам и ценностям сообщества.

Непонимание этих отличий нынешних национал-популистов от националистических движений прошлого, ведущее к бесконечному воспроизводству поверхностных аналогий в леволиберальной среде, приводит к результатам, обратным поставленным целям. Вместо разоблачения и лишения неопопулистов какой-либо социальной поддержки, стратегия их демонизации со стороны истеблишмента (одновременно с кампаниями этих движений по реабилитации собственного имиджа) лишь подтверждает их образ непримиримых борцов с «системой».

Другой аспект доминирующей в элитах и медийном пространстве трактовки национал-популизма связан с особенностями сопутствующей ей риторики. Резкое неприятие и высмеивание политических лидеров на страницах прогрессисткой прессы и в либеральной блогосфере часто переносится на активно поддерживающие их массы избирателей или стоящее за ними «молчаливое большинство». Так, поддержка Трампа и голосование за Брексит подается в качестве реакции озлобленных «лузеров глобализации»[[61]](#footnote-61), ностальгирующих по ушедшей эпохе стабильности и процветания национальных государств. Шокированная либеральная общественность в США изобличает «восстание рассерженных белых мужчин»[[62]](#footnote-62), грезящих образом «великой Америки» 1950-х годов[[63]](#footnote-63) – атомной сверхдержавы во главе капиталистического мира, переживающей индустриальный подъем и не знающей слова «политкорректность». Что же касается англичан, то они, по мнению профессора Кембриджа Николаса Бойла, охвачены иной ностальгией – по былому имперскому величию. «Еврофобия, продемонстрированная на референдуме, – пишет он, является специфически английским психозом, нарциссическим выражением именно английского кризиса идентичности». (Речь идет именно об англичанах, а не британцах, поскольку в Шотландии и Северной Ирландии, а также в космополитическом Лондоне, большинство высказалось за *Remain*). Лишь когда англичане осознают, что «в мире – в действительности, на Британских островах – живут не только они сами», можно будет надеяться на то, что «доведшие Англию до Брексита иллюзии наконец будут рассеяны в результате контакта с реальностью». Тогда же «излеченные от психоза англичане попросятся назад в ЕС»[[64]](#footnote-64).

На «смесь пренебрежения и опаски», с которой новые элиты взирают на массы, указывал еще Кристофер Лэш[[65]](#footnote-65). Подобно тому, как в XIX веке западноевропейская городская буржуазия презрительно описывала рабочий люд не иначе как «опасные классы» (*classes dangereuses*), а крестьянское население провинций как «дикарей» (*sauvages*), современная образованная и высокостатусная публика на Западе обрушивает свой гнев и отвращение на массы «реднеков», «расистов», «традиционалистов» и «националистов». К слову, примерно так же, с поправкой на историко-политический контекст, как российская либеральная общественность обзывает ностальгирующих по брежневской эпохе россиян «совками», а одобряющих политику президента Путина сограждан – «ватниками». В этой риторике столь же много пафоса и социального расизма, как и полтора века назад, но чего в ней не хватает, так это маломальского стремления понять, убедить, просветить, а для начала хотя бы вступить с оппонентом в диалог. Справедливо изобличая необоснованные страхи и ксенофобию соотечественников, просвещенная западная публика сама демонстрирует крайнюю нетерпимость. Поэтому неудивительно, что такой подход образованных слоев общества лишь углубляет символический раскол между «космополитическими элитами» и «простым народом», вносимый риторикой популистов. В конечном счете, морализаторство в адрес «неудачников» и «страдающих психозом» сограждан фактически означает признание интеллектуального и политического бессилия говорящего.

Наконец, господствующее в элитных слоях восприятие «возрождения национализма» как сугубо архаичного явления, чуждого реалиям нынешнего столетия, имеет ряд практических последствий. Сквозь эту призму национал-популистские движения в современной Европе и США должны рассматриваться как негативная реакция на прогресс, вернее на то, что сегодня под этим словом понимается (эмансипация нравов и моделей индивидуального поведения, «космополитизация» сознания и пр.). Безусловно, такая точка зрения не лишена оснований. Однако она не может претендовать на исчерпывающий объяснительный характер. На наш взгляд, новые формы европейского и американского национализма, принимающие популистскую стилистику, являются не только и не столько протестом против прогресса, сколько *выражением антиэлитизма*. Другими словами, ответом на разрыв связи (разрыв во многом вполне реальный, но нередко и мнимый) между правящими и задающими интеллектуальную моду группами, с одной стороны, и непривилегированными классами – с другой.

Светлана Бойм, авторитетная исследовательница ностальгии, отмечала, что этот феномен не есть «враг современности, а ее составная часть». Это относится не только к рефлексирующей ностальгии, отсылающей «к индивидуальной и культурной памяти», но и к ностальгии реставрирующей, которая «занимается прошлым и будущим нации»[[66]](#footnote-66). Вот и нынешние национализмы идентичности бросают *современный* вызов западным демократиям, делая это в том числе при помощи ностальгии – конструирования утопии прошлого и мифологизации исторического времени. Яркие, но вместе с тем предельно расплывчатые образы «старой доброй Англии», «великой Америки» или, скажем, «нежной Франции»[[67]](#footnote-67) времен послевоенного экономического подъема не столько отсылают, как кажется на первый взгляд, к прошлым эпохам, сколько служат символическими маркерами актуальных политических притязаний. Историк Джеффри Хоскинг связывает нынешнюю волну национал-популизма в странах Европы с эрозией национального государства в процессе экономической глобализации, притом что государству и сегодня нет равных в воспроизводстве «символических систем, создающих и поддерживающих широкое доверие в обществе (generalized trust)», и в отправлении «функции менеджера публичных рисков (public risk manager)»[[68]](#footnote-68). Без принятия в расчет этих обстоятельств невозможно объяснить, почему, например, новые националистические движения являются «правыми в вопросах этнической политики (ethnic policy)» и одновременно «левыми в вопросах экономики»[[69]](#footnote-69). Открыто демонстрируя и распространяя ксенофобию, практически все европейские национал-популисты «хотят выстроить заслон против транснациональных компаний и восстановить государственный контроль над движением капиталов (capital controls)»[[70]](#footnote-70). И хотя все они выступают с инициативами по снижению налогов для среднего класса и мелкого бизнеса, некоторые из них, как Марин Ле Пен, одновременно выступают против политики бюджетной экономии (*austerity*) и за сохранение и даже расширение существующих социальных гарантий. В этом свете было бы ошибкой (как к тому подталкивает интерпретация в логике «протеста против прогресса») сводить антииммигрантский и исламофобный дискурс европейских национал-популистов к реваншу за «ценности дедов»[[71]](#footnote-71), а их радикальную критику глобализации и европейской интеграции исключительно к онтологическому страху перед фигурой Другого. За этой критикой в не меньшей, а вероятно и в большей, степени стоит неприятие проводимой правящими элитами политики и особенно их опора на «одностороннюю» коммуникацию, которая не предполагает активного участия граждан.

К подобному заключению приходит политический философ Майкл Сэндел в своем анализе победы Трампа на президентских выборах в США. По его словам, прогрессивные партии «должны извлечь для себя урок благодаря потеснившему их популизму, <…> принимая всерьез обоснованное беспокойство (legitimate concerns)» части общества, скрывающееся за внешней оболочкой нетерпимости и ксенофобии[[72]](#footnote-72). Сэндел выделяет четыре основные сюжета, которые лежат в основе растущего беспокойства американцев и выступают причиной небывалой популярности «трампизма». Это углубляющееся неравенство доходов, меритократическое высокомерие (*meritocratic hubris*) элит, падение престижа работы (*the dignity of work*) в обществе и, наконец, вопросы патриотизма и принадлежности к национальному сообществу[[73]](#footnote-73). Попытка предложить адекватные пути решения этих проблем, таким образом, упираются в необходимость смены привычной для либеральной общественности оптики. С этой же необходимостью недавно пришлось столкнуться и европейским элитам.

***Пробуждение Европы от «грез будущего»***

«Правительства [в Европе] не хотят признать, что самые важные проблемы XXI века вращаются вокруг вопросов идентичности – человека, общности, нации», – заявила в одном интервью Фрауке Петри, лидер партии «Альтернатива для Германии»[[74]](#footnote-74). Наверняка у госпожи Петри особое мнение на этот счет, но само указание на первостепенную значимость связанных с идентичностью вопросов в странах Европы представляется симптоматичным. Особенно вызывающе это заявление звучит в Германии, где обсуждение всего, что связано с темой национального, на официальном уровне долгое время было под запретом. Но и в политическом языке Евросоюза вопросы идентичности всегда оставались на периферии и по большей части рассматривались в негативном ключе: само слово «идентичность» в первую очередь ассоциировалось с национальным сознанием и так называемым «национальным эгоизмом» государств-членов – инерционным образом мыслей и действий, тормозящим европейскую интеграцию или препятствующим ей. Не секрет, что проект объединенной Европы задумывался с целью подавления национальных идентичностей входящих в него стран (немецкой, французской, бельгийской, итальянской…) и отрицания государственных границ, сковывающих свободное передвижение капиталов и людей. Не потому ли вопрос о внешних границах Евросоюза вплоть до наступления миграционного кризиса в 2015 году вообще не принимался европейскими властями всерьез?

Что же касается общеевропейской идентичности, которая по логике вещей должна была заменить собой национальное сознание жителей ЕС, то проект по ее конструированию по существу так и не был разработан. Еще во времена «отцов-основателей» Евросоюза Жана Монне и Робера Шумана предполагалось, что мотором европейской интеграции выступает экономическая кооперация, за которой неминуемо следует создание общих управленческих и политических структур. Остальное, как говорится, приложится. Однако по мере углубления процессов интеграции европейских экономик накапливалось все больше противоречий, решить которые не удавалось и при помощи таких институтов, как Европарламент, Европейская комиссия и Европейский совет. Со временем выяснилось, что изначальная схема просто перестала работать. Дефицит общего видения единой Европы среди элит европейских стран, в том числе как геополитического образования в глобальном мире, отчетливо проявился к началу нынешнего столетия[[75]](#footnote-75). Растущие недоверие граждан к Брюсселю, в свою очередь, создавало почву для новых распрей и недовольства «европейским вектором» политики своих стран.

За несколько лет до наступления масштабного миграционного кризиса, расколовшего и рассорившего европейские правительства, а также беспрецедентного решения Великобритании о выходе из состава ЕС Фрэнсис Фукуяма отмечал: главная проблема Евросоюза, от решения которой зависит его будущее, состоит не в сложностях экономической интеграции и даже не в работе европейских политических институтов, а в вопросе европейской идентичности. Констатируя системный сбой на этом направлении, политолог указывал на то, что «никогда не существовало удачной попытки создать европейский смысл идентичности, европейский смысл гражданства, которое определило бы права и обязанности европейцев по отношению друг к другу за рамками формальных договоров»[[76]](#footnote-76). Впрочем, даже если бы четкий проект по формированию сознания наднационального европейского сообщества был предложен, он неминуемо натолкнулся бы на целый ряд объективных трудностей. Как уже отмечалось, причина этого состоит в том, что европейская концепция идентичности изначально не может опереться на единую культуру, один язык или общую историю, а потому она заранее проигрывает в конкуренции с национальными формами сознания.

Отсутствие консенсуса в представлениях о европейской культуре проявились во время подготовки проекта Конституции ЕС, которая так и не вступила в силу, будучи отвергнутой на референдумах во Франции и Нидерландах в 2005 году. Тогда много шума наделали споры о культурном наследии Европы. В центре разногласий оказался вопрос о роли духовных ценностей: одни настаивали на признании особой роли христианства (и других религий – иудаизма и ислама) в формировании европейской цивилизации, тогда как их оппоненты высказывались за приоритет ценностей гуманизма и светской традиции Просвещения, сформировавшей основы современной Европы[[77]](#footnote-77). Однако в действительности, ни гуманистические ценности, такие как права человека, демократия и терпимость, ни тем более христианство не могут служить надежной основой европейской идентичности. Религия в Европе по преимуществу стала частью личной жизни людей, и хотя возможности общественной мобилизации на основе апелляции к христианским ценностям далеко не исчерпаны (в особенности по вопросам вроде права на аборт или однополых браков), эти ценности больше не могут служить основой для консолидации всего общества ни в одной из стран ЕС, включая наиболее католические Польшу и Италию. С другой стороны, официально декларируемые гуманистические идеалы европейской цивилизации, несмотря на (вполне справедливое) подчеркивание исторической роли Европы в их кристаллизации и распространении по миру, мыслятся и понимаются как универсальные ценности. А это подрывает любые потенциальные и, на самом деле, оправданные попытки определить их собственно европейскую (то есть не французскую или испанскую, а общую для них) специфику. Приверженность ценностям прогресса, имеющим всемирно-историческое значение и, таким образом, преодолевающим любые проявления «евроцентризма», также существенно ограничивает возможности четкого определения символических (и даже политических) границ единой Европы.

Не меньше проблем с языковым разнообразием. Девиз Евросоюза гласит: *In varietate concordia*, единство в разнообразии. Тема плюрализма культур, традиций и языков европейцев – один из ключевых элементов дискурса европейских элит. В ЕС официально признаны 24 языка (не считая таких языков, как каталанский и уэльский, имеющих статус «приравненных к официальным», *co-official languages*), на которых публикуются все документы и ведется работа в Европарламенте. Очевидно, что в нормальном общении на уровне ЕС просто невозможно использовать даже половину из двух с лишним десятков языков, а потому наиболее популярными рабочими языками являются французский и английский. Французский, в первую очередь, потому, что местом расположения штаб-квартиры Евросоюза был выбран Брюссель, английский – как самый популярный язык международного общения в послевоенной Европе и мире (собственно, английский язык потеснил французский, прежде игравший роль языка международной дипломатии и деловой переписки). Остальные языки, по сути, играют второстепенную роль. С этим связана другая проблема: немецкий язык не имеет того же статуса, что французский и английский[[78]](#footnote-78), хотя именно ФРГ вместе с Францией сыграла ключевую роль в европейской интеграции. Германия и по сей день де-факто является лидером объединенной Европы, впрочем, избегающим взять на себя слишком много ответственности даже в условиях Брексита.

В последние десятилетия и особенно после подписания Маастрихтского договора (1992) заметно ускорились процессы конструирования общеевропейского исторического нарратива и коллективной памяти. Чаще всего выбор делался в пользу нейтральных символических стратегий, которые должны были «никого не обидеть», но от этого лишались эмотивной составляющей. Наиболее яркий пример – банкноты евро, на которых видны «стилизованные изображения мостов, готических или романских арок», неидентифицируемых с тем или иным конкретным местом[[79]](#footnote-79). Несмотря на подобную политику, процессы создания европейской памяти сталкиваются с целым рядом проблем, вытекающих из разнообразия исторического опыта и оценок прошлого. В этом отношении основной водораздел, если не сказать глубокий раскол, пролегает между странами Западной и Восточной Европы.

В Западной Европе центральным сюжетом дебатов на исторические темы является переосмысление имперского прошлого и преодоление колониального наследия. С утверждением «постколониального сознания» связано переписывание школьных и университетских программ по истории и смена символической политики западноевропейских государств. Напомним, что страны Западной Европы, стоявшие у истоков европейской интеграции, включая Францию, Германию, Бельгию и Нидерланды, долгое время были имперскими метрополиями. (В этом смысле ЕС можно рассматривать как союз бывших метрополий, интеграция которых, во многом, сгладила последствия постимперской ностальгии в этих странах). Что также объединяет национальные версии ревизии исторического сознания в странах Западной Европы, так это память о мировых войнах и прежде всего Второй мировой, рассматриваемых как следствие соперничества европейских метрополий за геополитическое могущество. Собственно, предотвращение столь же разрушительных конфликтов в будущем с самого начала, то есть с 1950-х годов, почиталось как историческая миссия европейской интеграции, зафиксированная в провозглашаемых целях ЕС – мире и процветании (*peace and prosperity*). Позже, к 80-м годам ХХ века в странах тогдашнего ЕЭС сформировался консенсус относительно прошлого, в основу которого была положена память о Холокосте.

В процессе расширения Европейского Союза в 2004 году в его состав вошли государства Восточной Европы и балтийские республики, которые, по словам историка Алексея Миллера, «просто взорвали этот консенсус»: участники Холокоста здесь нередко воспринимались как национальные герои[[80]](#footnote-80). Однако центральное место в публичных дебатах об истории и «исторической политике» восточноевропейских стран занимает не это событие и даже не ужасы 1939-1945 годов, а опыт жизни данных обществ при социализме. В отличие от западноевропейских стран, разоблачающих собственное имперское прошлое колонизаторов, государства Восточной Европы принялись конструировать сознание общества-жертвы, пострадавшего от советской оккупации. Если на западе Европы заметны некоторые признаки ослабления национальной идентичности вследствие роста внимания к правам меньшинств и выработки позитивного восприятия культурного разнообразия, на востоке континента наблюдается другая историческая динамика. После краха социализма здесь возобновились процессы конструирования образов этнически гомогенных наций, а тема мультикультурности в публичном пространстве, мягко говоря, не пользуется большой популярностью. Эти различия в политике памяти существенно обострили внутриевропейские противоречия, выходящие за рамки собственно споров об истории. «Когда Европейский парламент принял в качестве общеевропейского Дня памяти День памяти жертв тоталитарных режимов (23 августа – день подписания в 1939 году пакта Молотова-Риббентропа), – отмечает Миллер, – то стало понятно, что европейский дискурс о прошлом переформатировался»[[81]](#footnote-81). А вместе с ним изменился баланс сил внутри Евросоюза, в том числе в определении его внешней политики по отношению к России, со своей стороны охотно вступившей в европейские войны памяти.

Несовпадение картин прошлого и оценок референтных исторических событий оказывает непосредственное влияние и на взаимные отношения между государствами-членами ЕС. Наглядной иллюстрацией этому служит так называемый миграционный кризис, фактически разделивший Евросоюз на два лагеря, каждый из которых имеет вполне ясные географические очертания. Во главе стран, выступивших за прием беженцев от имени гуманизма и европейской солидарности, выступила Германия, воспринимающая себя как виновницу за развязывание самой разрушительной в истории войны и геноцида евреев. И хотя волна критики в адрес немецкого руководства продемонстрировала, что внутригерманский консенсус относительно прошлого с недавних пор подвергается эрозии, ФРГ за два года приняла более миллиона ближневосточных беженцев. Лидеры других стран на западе, севере и юге Европы, хотя и без особого энтузиазма и с большей осторожностью в оценках, в целом поддержали позицию канцлера Меркель. Напротив, в лагере противников приема беженцев единым фронтом выступили все «постсоциалистические» страны Восточной Европы и Балтии. Лидеры этих государств, культивирующие в своих обществах сознание жертвы, просто отказались принимать мигрантов, притом что ни одна из этих стран, за исключением Венгрии, практически не испытала на себе никакого эффекта от нынешнего миграционного кризиса. Несмотря на это, тема миграции в Европу была использована руководством восточноевропейских стран как средство оспаривания изнутри структуры Евросоюза и даже самой целесообразности его существования. Так, открещиваясь от напоминаний о более чем 170 тысячах венгерских беженцев, бежавших из страны после событий 1956 года и принятых в странах Западной Европы[[82]](#footnote-82), премьер Венгрии Виктор Орбан трансформировал свою традиционно жесткую антимигрантскую позицию в ультимативную риторику, адресованную Брюсселю. В разгар кризиса беженцев Орбан дошел до того, что принялся разоблачать угрозу «советизации» Евросоюза[[83]](#footnote-83) (отметим неслучайный характер этой псевдоисторической отсылки). Тем временем, бывший президент Чехии Вацлав Клаус и его помощник опубликовали книжку с характерным названием: «ООО “Переселение народов”»[[84]](#footnote-84). Изобличая «лицемерный и извращенный гуманизм» европейских элит, взывающих к солидарности и распределению беженцев по квотам между государствами-членами ЕС, авторы фактически обвиняют «маму мигрантов» Ангелу Меркель и председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в использовании кризиса на Ближнем Востоке в собственных целях. А именно для дискредитации внутриевропейской оппозиции (то есть таких людей, как сам Клаус) и даже замещения коренного населения континента «новыми европейцами»[[85]](#footnote-85).

Подведем предварительный итог: на пути создания европейской идентичности возникло множество трудностей, преодолеть которые в обозримой перспективе не представляется возможным. Но все же главная проблема, препятствующая наполнению символическим и практическим смыслом понятия европейского гражданства, пожалуй, заключается в отсутствии европейского гражданского общества как такового и в слабости единого публичного (политического) пространства Евросоюза. Без ощущения общности, базирующейся на культурных связях и чувстве солидарности поверх национальных границ, не возникает и чувства сопричастности рядовых европейцев с осуществляемой от их имени политикой, на которую они при этом практически никак не могут повлиять. Поскольку, по словам Алена Дьекоффа, «европейское гражданское общество находится в лучшем случае в зачаточном состоянии»[[86]](#footnote-86), у обычных европейцев не возникает большой заинтересованности в европейской повестке, выходящей за рамки повестки национальной. Отмечая высокий уровень неучастия на европейских выборах (в среднем по ЕС – 55%), политолог указывает и на другое обстоятельство: «подавляющее большинство населения государств-членов [Евросоюза] по-прежнему перемещается исключительно или по большей части внутри национальных границ»[[87]](#footnote-87). В целом, «можно сделать вывод лишь о живучести национальной идентичности в Европе, будь то в форме привязанности к национальному государству, популистского и реакционного национализма или “регионального национализма”»[[88]](#footnote-88).

Провал проекта европейской «транснациональной демократии» признают даже ее поборники, такие как Юрген Хабермас. Немецкий философ указывает на неслучайную связь между тем обстоятельством, что «европейская политика не укоренена в гражданском обществе», и такой организацией Евросоюза, при которой «ключевые экономические решения, затрагивающие интересы всего общества, выведены из-под демократического контроля (removed from democratic choice)»[[89]](#footnote-89). Крайняя слабость европейского публичного пространства, в частности, способствует тому, что депутаты Европарламента, то есть представители европейских граждан, не обладают эффективными инструментами взаимодействия с избирателями. Вместе с тем, выработка непосредственной политики и принятие решений от имени всего Евросоюза сводится к способности глав правительств государств-членов договориться между собой и с брюссельской «евробюрократией». С другой стороны, связь действует и в обратном направлении: отсутствие механизмов влияния на проводимую Евросоюзом политику, на что к тому же постоянно указывают «евроскептики», порождает у людей недоверие. Судя по данным Евростата, с середины 2000-х годов можно наблюдать устойчивую тенденцию снижения доли граждан, доверяющих ключевым институтам ЕС. Так, с 2004 по 2014 год доля европейцев, выражающих доверие Еврокомиссии, снизилась с 52 до 38% (в среднем по странам ЕС), к Европейскому совету – с 45 до 36%, а к Европарламенту – с 57 до 42% за тот же период[[90]](#footnote-90).

Евросоюз утратил прежний позитивный и, во многом, идеализированный образ, и сегодня доминирующая «картинка» ЕС больше напоминает обузу, нелегитимную надстройку, чем воплощение исторического прогресса и политической воли европейских граждан. В этом контексте недавнее заявление главы Европейского совета Дональда Туска об иллюзорности проекта «одной европейской нации» и насущной необходимости убедить европейцев в способности ЕС «поддерживать чувство безопасности и стабильности»[[91]](#footnote-91), следует рассматривать как признание глубины накопившихся противоречий и вызванной ими эрозии европейской идеи. На наш взгляд, критическое переосмысление этой идеи, а следовательно и ее институциональное оформление, в будущем должны исходить из нескольких принципов.

***Внимание к идентичности, отказ от иллюзий и возврат к гражданской нации***

 Первый и важнейший принцип, вытекающий из нашего анализа, звучит так: *нельзя отрицать национальные идентичности и связанные с ними культурные различия*. Национализм не является чем-то априори плохим или хорошим; он «нормален» в том смысле, что отражает потребность индивидов в самоидентификации. Ни одна группа, большая или малая, не может существовать без представления о самой себе, иными словами – без культурной идентичности. Так же как религия и сословие в прежние эпохи, в современном мире национальное самосознание было и остается господствующей формой коллективной идентичности людей[[92]](#footnote-92). История Европейского союза наглядно показывает, что надежды на «преодоление» национальной идентичности и национального сознания европейцев оказались иллюзорными. Представления о том, что лояльность национальному сообществу отпадет за ненадобностью в процессе углубления экономической интеграции и, в конечном счете, будет заменена преданностью универсальным ценностям и абстрактным символам, столкнулись с целым рядом указанных препятствий. И это в самых развитых, по всем существующим показателям, демократиях в мире. Что уж говорить об остальных странах, где публичное обращение к «национальной теме» за последние десятилетия не только не ослабело, но и значительно укрепилось[[93]](#footnote-93)?

Попытки отрицать или даже «вытравить» национальное сознание в европейских странах обернулись ростом недовольства со стороны широких слоев населения. Это недовольство, по эффекту маятника, зачастую принимает агрессивные формы антиглобалистской риторики, неприятия европейской интеграции *в любом ее виде* и страха перед «исламской угрозой». С другой стороны, хроническое невнимание европейских элит к вопросам идентичности, которые до самого последнего времени рассматривались как третьестепенные, аукнулось в трудный для объединенной Европы момент. Отсутствие европейского гражданского общества, публичного пространства и четких политических границ оказало услугу всевозможным «евроскептикам», отныне с большей, чем прежде, убедительностью призывающих покончить с «диктатом Брюсселя» и вернуть суверенитет и свободу народам Европы. В отличие от европейских стран, в США с 1970-х годов превалировала другая тенденция. Профессор Колумбийского университета Марк Лилла называет ее «идентитарным либерализмом» (*identity liberalism*). По словам ученого, этот либерализм проявляется в «чрезмерном внимании к вопросам разнообразия (the fixation on diversity)» в американских школах, прессе и политике, породившем «целое поколение самовлюбленных либералов и прогрессистов, невосприимчивых к условиям жизни за пределами своих узких групп (self-defined groups)»[[94]](#footnote-94). Помешательство на публичной экспликации и подчеркивании партикулярных идентичностей привело к забвению гражданского сознания и фрагментации американского общества, о чем еще в начале 2000-х писал С. Хантингтон[[95]](#footnote-95).

 Другой важный вывод состоит в *признании иллюзорности и контрпродуктивности* обоих господствующих в западных демократиях подходов – *элитарного космополитизма и национал-популизма*, апеллирующего к средним слоям и рабочему классу. Как часто бывает с противостоящими друг другу крайними позициями, между ними есть немало общего. В сущности, поднявший голову в Европе и Америке национал-популизм является зеркальным отражением космополитизма политических, интеллектуальных, экономических и художественных элит. Если космополитизм выступает за неограниченную глобализацию во всех ее проявлениях, то национал-популизм – за государственный патернализм и жесткий протекционизм; если один отстаивает «идентитарный либерализм» и самоценность разнообразия в любых его формах, то второй произносит панегирики в адрес консервативных нравов и показной демонстрации национального единства. В той же мере, в какой элитарный космополитизм не может быть практическим решением, не углубляющим социально-политического раскола западных наций, популизм идентичности не является достойной альтернативой хотя бы в силу своей реакционной природы, не говоря уже о неадекватности большинства предлагаемых им мер.

 Раскачивающиеся качели между космополитической утопией «постнационального» мира и не менее утопичным проектом «гомогенной» нации пока только усиливают их антагонизм. При этом ослабляется способность разных групп договариваться между собой и подрывается вера в демократические институты. Постоянно углубляющийся с конца прошлого века национальный раскол формирует, возможно, главный интеллектуальный и политический вызов для современного Запада. Заключается он в том, чтобы не отмахиваться от национал-популистской реакции как от архаики, заранее обреченной на проигрыш моральному и социальному прогрессу, но рассматривать эту реакцию как эксцентричный и, во многом, разрушительный протест против иллюзий и заблуждений, свойственных эпохе постмодернизма в западной и мировой политике. На наш взгляд, наиболее адекватным ответом на этот вызов является *критическое переосмысление связи между гражданским национализмом и либеральной демократией*.

 Мы начали эту книгу с указания на некоторые общие для России и ведущих стран Европы процессы. Они связаны с интеллектуальной и политической дискредитацией идеи гражданской нации, эрозией демократических институтов, а также атаками на либеральные ценности (со стороны радикалов в Европе и политического руководства в России). Но если в российском случае речь идет об имитации национального единства и демократической системы, то на Западе ситуация, скорее, может быть описана в терминах «пресыщения» и головокружения от успехов национального развития последних двух столетий. Именно в западных странах появился соблазн выйти за рамки национального сознания, деконструировать «мета-нарратив» национальной идентичности, отказаться от форм гражданского и социального контроля и преодолеть существующие политические границы во имя построения глобального общества. Космополитизм как глобалистское, «денационализированное» сознание действительно стал важной частью мировоззрения для многих представителей западных и вестернизированных образованных слоев, а для кого-то из них (чего не было в прежние эпохи) – даже образом жизни. Но это вовсе не означает, что так живут и думают подавляющее большинство обычных американцев и европейцев. Для многих из них, как, кстати, и для нас, космополитизм отнюдь не противоречит национальной идентичности и патриотическому чувству[[96]](#footnote-96).

Реалии нынешнего века дают все больше подтверждений того, что гражданское общество не может существовать чисто виртуально, в отсутствии чувства солидарности его членов и их практического участия. Без государства-нации не получается построить либеральную демократию (и демократию вообще), поскольку она «может осуществляться только в пределах четко определенного политического сообщества»[[97]](#footnote-97). Именно поэтому эрозия демократии и упадок либеральных ценностей в развитых странах Европы и США, в первую очередь, являются следствием ослабления чувства сопричастности рядовых граждан и элит в достижении национального процветания.

 Мы стремились показать, что либерализм и демократия не являются антинационалистическими принципами. Верно скорее обратное. Противопоставление идеи нации и национальной идентичности идеям свободы и правового равенства – не более чем ограниченный взгляд на их природу и взаимосвязь. Этот взгляд постепенно стал господствующим в конкретных (и весьма специфических) исторических условиях послевоенной Европы, а в конце ХХ века был подкреплен завышенными ожиданиями от краха коммунизма и глобализации. Либерализм проистекает из идей гуманизма и секуляризма; демократия, в свою очередь, основывается на идеях равенства и принципе народного суверенитета. Как доказывает Лия Гринфельд, исторически эти основания, по сути, являются производной от национального сознания, поскольку именно национальная культура определила наступление эпохи современности[[98]](#footnote-98). «Национализм, – заключает исследовательница, – это фундаментально секулярное и гуманистическое сознание, основанное на принципах народного суверенитета и равенства»[[99]](#footnote-99).

Сложное понимание национализма, его исторической роли и множества форм, не сводимых к ксенофобии или шовинизму, позволяет выйти за пределы логики, противопоставляющей либеральные ценности и социальный прогресс национальной идентичности и государству-нации. В действительности, либеральная демократия и национальное сознание граждан дополняют друг друга постольку, поскольку последнее создает основу для общности как политического (общность гражданских прав и обязанностей), так и культурного (общность языка, истории и ключевых символов) характера. Без такой солидарности и гражданской культуры демократические институты перестают работать, а ценности свободы и равенства лишаются социальной основы. Это особенно верно в свете вызовов миграции и растущего разнообразия культур, индивидуальных предпочтений и стилей жизни, ведущего к преумножению форм групповой самоидентификации. Укрепление гражданских уз и разработка инклюзивных моделей национальной идентичности позволяют обществу поддерживать свою социализирующую функцию и, тем самым, обеспечивать нормальное функционирование институтов. Без уважения к закону, терпимости и ценности свободы со стороны местных жителей не приходится ожидать подобных установок и от приезжих, а без вовлеченности граждан в дела сообщества не может быть речи об интеграции мигрантов.

Активизация взаимосвязи между либеральной демократией и национальной идентичностью граждан – это также ключ к преодолению возникающих в обществе межгрупповых расколов. На это указывает известный специалист по популизму Ян-Вернер Мюллер. Он считает, что для успешного противостояния национал-популистской риторике сторонники либеральной демократии «должны предлагать не только политические меры, способные привлечь на свою сторону избирателей, голосующих за популистские партии, *но также и* концепции плюралистической коллективной идентичности, обладающие большей привлекательностью, нежели фантазии популистов о гомогенной национальной принадлежности (pure peoplehood)»[[100]](#footnote-100). О необходимости противопоставить стратегии взаимных обвинений и демонизации оппонента чувство гражданской солидарности пишет и Марк Лилла: «Нам нужен пост-идентитарный либерализм (a post-identity liberalism), который учится на успехах прежнего либерализма (pre-identity liberalism). Такой либерализм расширил бы свою [социальную] базу благодаря обращению к американцам именно как американцам и за счет акцентирования тех проблем, которые волнуют подавляющее большинство из них. Он должен говорить с нацией как нацией граждан, живущих вместе и потому обязанных помогать друг другу»[[101]](#footnote-101).

Возврат к этим идеям в либеральных кругах позволяет надеяться не только на возвращение, но и на усиление роли гражданского общества, а значит и гражданской нации, в Европе и на Западе в целом, а в перспективе и в России. В противном случае, отказываясь от национальной идентичности как проявления коллективизма, либералы уступают место другим силам, выступающим с враждебных идеям свободы позиций.

1. Ренан Э. Что такое нация? [1882] // *Хронос*. Режим доступа: <http://www.hrono.ru/statii/2006/renan_naci.php>. [↑](#footnote-ref-1)
2. Исчерпанное время постмодерна. Интервью с Лилией Шевцовой // *Радио Свобода*. 21.01.2017. Режим доступа: <http://www.svoboda.org/a/28243845.html>. [↑](#footnote-ref-2)
3. #  24 ноября 2005 года Мосгоризбирком объявил о том, что ролик «Очистим Москву от мусора» разжигает межнациональную рознь и снял его с эфира, а 26 ноября Мосгорсуд по этой же причине отстранил партию от выборов. См.: Столицу очистили от «Родины» // *Новые Известия*. 28.11.2005. Режим доступа:

# <http://www.newizv.ru/politics/2005-11-28/36058-stolicu-ochistili-ot-rodiny.html>

 [↑](#footnote-ref-3)
4. Еврейская община прокомментировала слова Толстого об Исаакиевском соборе // *РБК*. 24.01.2017. Режим доступа: <http://www.rbc.ru/rbcfreenews/588680d19a7947767344b88d>. [↑](#footnote-ref-4)
5. Владимир Путин: «Медведев не меньший русский националист, чем я» // *Комсомольская правда*. 08.03.2008. Режим доступа: <http://www.msk.kp.ru/daily/24060/303858/>. [↑](#footnote-ref-5)
6. Путин: «Самый большой националист в России – это я» // *Новая газета*. 24.10.2014. Режим доступа:

<https://www.novayagazeta.ru/news/2014/10/24/107126-putin-samyy-bolshoy-natsionalist-v-rossii-151-eto-ya>. [↑](#footnote-ref-6)
7. Штепа В. «Валдайский клуб» как столкновение цивилизаций // *Руфабула*. 03.11.2015. Режим доступа:

<https://rufabula.com/articles/2015/11/03/valdai-club-as-a-clash-of-civilizations>. [↑](#footnote-ref-7)
8. Опасная игра. Российский политолог Александр Морозов об украинском вопросе и предчувствии Большой войны // *Фокус*. 16.02.2017. Режим доступа: <https://focus.ua/world/366231/>. [↑](#footnote-ref-8)
9. Чтобы составить представление о многообразии позиций среди российских ученых по данному вопросу, см. статьи из № 3 за 2007 год в журнале «Pro et Contra». [↑](#footnote-ref-9)
10. Тишков В.А. Усложняющее разнообразие: как его понимать и упорядочить // *Культурная сложность современных наций* / Отв. ред. В.А. Тишков и Е.И. Филиппова. – М.: Политическая энциклопедия, 2016. С. 9. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ренан Э. Что такое нация? [1882] // *Хронос*. Режим доступа: <http://www.hrono.ru/statii/2006/renan_naci.php>. [↑](#footnote-ref-11)
12. Тишков В.А. Усложняющее разнообразие: как его понимать и упорядочить // *Культурная сложность современных наций* / Отв. ред. В.А. Тишков и Е.И. Филиппова. – М.: Политическая энциклопедия, 2016. С. 12. См.: Наумкин В.В. Глубоко разделенные общества Ближнего и Среднего Востока: конфликтность, насилие, внешнее вмешательство // *Вестник Московского университета*. Серия 25. Международные отношения и мировая политика. – 2015. – № 1. С. 66-96. [↑](#footnote-ref-12)
13. Филиппова Е.И. Нации, государства и культуры // *Культурная сложность современных наций* / Отв. ред. В.А. Тишков и Е.И. Филиппова. – М.: Политическая энциклопедия, 2016. С. 22.

Stepan A., J.J. Linz and Y. Yadav, “The Rise of ‘State-nations’”, *Journal of Democracy*. Vol. 21, Nо 3. July 2010. Р. 51. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Национализм в мировой истории* / Под ред. В.А. Тишкова и В.А. Шнирельмана. – М.: Наука, 2007. С. 5. [↑](#footnote-ref-14)
15. Там же. С. 5. [↑](#footnote-ref-15)
16. Там же. С. 5. [↑](#footnote-ref-16)
17. Тишков В.А. Российская нация и ее критики // *Национализм в мировой истории* / Под ред. В.А. Тишкова и В.А. Шнирельмана. – М.: Наука, 2007. С. 558-601. [↑](#footnote-ref-17)
18. Тесля А. «Нация» есть понятие политическое // *Русофил*. 12.01.2017. Режим доступа:

<http://russophile.ru/2017/01/12/%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B5/>. [↑](#footnote-ref-18)
19. Александр Проханов: Пятая империя – путь России // *Евразийство*. Режим доступа: <http://xn--80adbjmgh5bmol.xn--p1ai/public/item/61-aleksandr-prokhanov-pyataya-imperiya-put-rossii.html>; Александр Дугин: Империя – это всегда терпимость к меньшинствам // *Эхо Москвы*. 26.05.2012. Режим доступа: <http://echo.msk.ru/blog/kavkaz_politic/892509-echo/>. [↑](#footnote-ref-19)
20. См.: Гайдар Е.Т. *Гибель империи. Уроки для современной России*. – М.: РОССПЭН, 2006. [↑](#footnote-ref-20)
21. См., например, Имперский дискурс в современной России http://www.apn.ru/publications/article20749.htm [↑](#footnote-ref-21)
22. См. напр.: Паин Э. Между империей и наций. – М.: Новое издательство, 2004; Он же. Империя в себе. О возрождении имперского синдрома // *После империи* / Под ред. И.М. Клямкина. – М.: Фонд «Либеральная миссия», 2007. С. 102-123; Pain E. “[The Imperial Syndrome and its Influence on Russian Nationalism](https://publications.hse.ru/view/192335641)”, in P. Kolstø and H. Blakkisrud (eds.), *The New Russian Nationalism. Imperialism, Ethnicity and Authoritarianism, 2000-15*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016. P. 46-74. [↑](#footnote-ref-22)
23. Что такое «новая имперская история», откуда она взялась и к чему она идет? Беседа с редакторами журнала *Ab Imperio* Ильей Герасимовым и Мариной Могильнер // *Логос*. – 2007. – № 1 (58). С. 224. [↑](#footnote-ref-23)
24. Охотин Н.Г., Рогинский А.Б. О масштабе политических репрессий в СССР при Сталине: 1921-1953 // *Демоскоп Weekly*. – 2007. – № 313-314. Режим доступа: <http://demoscope.ru/weekly/2007/0313/analit01.php>. [↑](#footnote-ref-24)
25. Raun T.U. “The Revolution of 1905 in the Baltic Provinces and Finland”, *Slavic Review*. Vol. 43, No. 3. 1984. P. 453-467. [↑](#footnote-ref-25)
26. Ливен Д. Империя, история и современный мировой порядок // *AbImperio*. – 2005. – № 1. С. 75-116. [↑](#footnote-ref-26)
27. Клямкин И. Об исторической работе империй // *Facebook*. 12.02.2017. Режим доступа:

<https://www.facebook.com/igor.klymakin/posts/1222208871232905>. [↑](#footnote-ref-27)
28. Хантингтон С. *Третья волна. Демократизация в конце XX века* / Пер. с англ. – М.: РОССПЭН, 2003 [1991]. [↑](#footnote-ref-28)
29. См.: *Общественное мнение – 2015. Ежегодник*. – М.: Левада-Центр, 2016. С. 54-68. [↑](#footnote-ref-29)
30. Гудков Л.Д. Время и история в сознании россиян (часть II) // *Вестник общественного мнения*. – 2010. – № 2 (104). С. 13-61. [↑](#footnote-ref-30)
31. Рамзан Кадыров не доверяет Министерству образования и Верховному суду РФ // *Московский комсомолец*. 25.01.2017. Режим доступа: <http://www.mk.ru/social/2017/01/25/ramzan-kadyrov-ne-doveryaet-ministerstvu-obrazovaniya-i-verkhovnomu-sudu-rf.html>. [↑](#footnote-ref-31)
32. В Уфе прошла акция протеста против обязательного изучения башкирского языка // *NEWSru.com*. 01.09.2006. Режим доступа: <https://www.newsru.com/russia/01sep2006/ufa.html>; Кто против навязывания башкирского языка - тот содействует развалу России? // *Уфимский журнал*. 21.03.2016. Режим доступа: <http://journalufa.com/18233-kto-protiv-navyazyvaniya-bashkirskogo-yazyka-tot-sodeystvuet-razvalu-rossii.html>. [↑](#footnote-ref-32)
33. Вишневский А. Принесла ли сюрпризы перепись населения? *MyShared*. 20.03.2013. Режим доступа:

<http://www.myshared.ru/slide/368216/>. [↑](#footnote-ref-33)
34. Зайончковская Ж. Миграционная ситуация современной России // *Полит.ру*. 26.01.2005. Режим доступа: <http://polit.ru/article/2005/01/26/migration/>. [↑](#footnote-ref-34)
35. Зайончковская Ж. Миграционная ситуация в современной России // 12.03.2007. [↑](#footnote-ref-35)
36. Паин Э. Метаморфозы политической напряженности в России: от политических митингов к этническим бунтам // *Дружба народов*. – 2014. – № 1. Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/druzhba/2014/1/18p.html>. [↑](#footnote-ref-36)
37. В странах Западной Европы и США с 1970-80-х годов вопросы дискриминации и расизма постепенно оказались в центре публичных дискуссий, в том числе политических дебатов и программ; тогда же было значительно расширено антидискриминационное законодательство. См. подробнее: Осипов А.Г. *Что такое этническая дискриминация и что с ней можно сделать?*. – М.: Центр «Сова», 2012. [↑](#footnote-ref-37)
38. Тесля А. «Нация» есть понятие политическое. Указ. соч. [↑](#footnote-ref-38)
39. Там же. [↑](#footnote-ref-39)
40. Фукуяма Ф. *Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию* / Пер. с англ. – М.: АСТ, 2004 [1995]. [↑](#footnote-ref-40)
41. Bershidsky L. The West’s Biggest Problem Is Dwindling Trust // *Bloomberg*. 04.01.2017. URL:

<https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-01-04/the-west-s-biggest-problem-is-dwindling-trust>. [↑](#footnote-ref-41)
42. Ibid. [↑](#footnote-ref-42)
43. Ibid. [↑](#footnote-ref-43)
44. Ibid. [↑](#footnote-ref-44)
45. 2017 Edelman TRUST BAROMETER Reveals Global Implosion of Trust // *Edelman*. 15.01.2017. URL:

<http://www.edelman.com/news/2017-edelman-trust-barometer-reveals-global-implosion/>. [↑](#footnote-ref-45)
46. Лукьянов Ф. Нервозный Мюнхен // *Россия в глобальной политике*. 20.02.2017. Режим доступа:

<http://www.globalaffairs.ru/redcol/Nervoznyi-Myunkhen-18600>. [↑](#footnote-ref-46)
47. Edgar Morin : « Le temps est venu de changer de civilisation » // *Acteurs de l’économie – La Tribune*. 11.02.2016. URL : <http://acteursdeleconomie.latribune.fr/debats/grands-entretiens/2016-02-11/edgar-morin-le-temps-est-venu-de-changer-de-civilisation.html>. [↑](#footnote-ref-47)
48. Поликовский А. Восход Европы // *Новая газета*. 08.02.2017. Режим доступа:

<https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/02/08/71436-voshod-evropy>. [↑](#footnote-ref-48)
49. Лэш К. *Восстание элит и предательство демократии* / Пер. с англ. Дж. Смити и К. Голубович. – М.: Логос, Прогресс, 2002 [1995]. [↑](#footnote-ref-49)
50. Там же. С. 39. [↑](#footnote-ref-50)
51. Там же. С. 7. [↑](#footnote-ref-51)
52. Там же. С. 40. [↑](#footnote-ref-52)
53. Хантингтон С. *Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности* / Пер. с англ. А. Башкирова. – М.: Изд-во ACT, 2004. [↑](#footnote-ref-53)
54. Манен Б. *Принципы представительного правления* / Пер. с англ. Е.Н. Рощина. – СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2008 [1995]. [↑](#footnote-ref-54)
55. Урбинати Н. *Искаженная демократия. Мнение, истина и народ* / Пер. с англ. Д. Кралечкина. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2016 [2014]. С. 321-420. [↑](#footnote-ref-55)
56. Furedi F. There Is an Alternative // *FrankFuredi.com*. 25.01.2017. URL:

<http://www.frankfuredi.com/article/there_is_an_alternative>. [↑](#footnote-ref-56)
57. Suleiman E.N. *Dismantling Democratic States*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2003. [↑](#footnote-ref-57)
58. См. подробный анализ дискуссий на эту тему в: Оболонский А.В. *Кризис бюрократического государства: Реформы государственной службы. Международный опыт и российские реалии*. – Москва: Фонд «Либеральная миссия», 2011. [↑](#footnote-ref-58)
59. В связи с широко распространенным восприятием Брексита как катастрофы или, по крайней мере, серьезной угрозы для проекта единой Европы не будет лишним напомнить об особом положении, которое Соединенное Королевство занимало в Евросоюзе, при этом всячески его подчеркивая. С момента вступления в тогдашнее ЕЭС в 1973 году, британцы последовательно выступали за торговый и таможенный союз в Европе и всегда оставались скептичными в отношении европейской политической интеграции, валютного и миграционного союза. Именно поэтому Великобритания отказалась применять бóльшую часть Шенгенского законодательства (о свободном передвижении в ЕС), а также отвергла идею присоединения к еврозоне и переход на евро. В этом отношении ничего не изменили даже лейбористы в свою бытность у власти, притом что тогда их возглавлял очень проевропейски настроенный Тони Блэр (1997-2007). [↑](#footnote-ref-59)
60. Taguieff : « L’Europe et la mondialisation, principales causes des réactions nationalistes » // *Le Figaro*. 17.04.2015. URL : <http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/04/17/31003-20150417ARTFIG00240-taguieff-les-partis-nationalistes-sont-loin-d-etre-les-seuls-a-donner-dans-la-demagogie.php>. [↑](#footnote-ref-60)
61. Mudde C. The Revenge of the Losers of Globalization? Brexit, Trump and Globalization // *Huffington Post*. 09.08.2016. URL: <http://www.huffingtonpost.com/cas-mudde/the-revenge-of-the-losers_b_11407468.html>; Merler S. Compensating The “Losers” of Globalization // *Bruegel*. 09.01.2017. URL:

<http://bruegel.org/2017/01/compensating-the-losers-of-globalisation/>. [↑](#footnote-ref-61)
62. Sedensky M. America Divided: The Rebellion of the Angry White Man // *LGBTQ Nation*. 20.10.2016. URL: <http://www.lgbtqnation.com/2016/10/america-divided-rebellion-angry-white-men/>. [↑](#footnote-ref-62)
63. Edwards-Levy A. Half of Americans Want to Take the Country Back to the 1950s // *Huffington Post*. 25.10.2016. URL: <http://www.huffingtonpost.com/entry/americans-1950s-poll_us_580fcf0be4b08582f88c9575>; Gaskell S. For Donald Trump, Making America “great again” Means Making It More like the 1950s // *Mic*. 16.09.2016. URL: <https://mic.com/articles/153611/for-donald-trump-making-america-great-again-means-making-it-more-like-the-1950s#.fjcd9sy3u>. [↑](#footnote-ref-63)
64. Boyle N. The Problem with the English: England Doesn’t Want to Be Just Another Member of a Team // *The New European*. 17.01.2017. URL: <http://www.theneweuropean.co.uk/top-stories/the_problem_with_the_english_england_doesn_t_want_to_be_just_another_member_of_a_team_1_4851882> [↑](#footnote-ref-64)
65. Лэш К. *Восстание элит и предательство демократии*. Указ. соч. С. 26. [↑](#footnote-ref-65)
66. Бойм С. Будущее ностальгии // *Неприкосновенный запас*. – 2013. – № 3 (89). Режим доступа:

<http://magazines.russ.ru/nz/2013/3/11s.html#_ftnref1>. [↑](#footnote-ref-66)
67. «Douce France», так называлась известная песня, записанная шансонье Шарлем Трене в 1947 году. [↑](#footnote-ref-67)
68. Hosking G. “Why Has Nationalism Revived in Europe?”, *Nations and Nationalism*. Vol. 22, No. 2. 2016. P. 212.  [↑](#footnote-ref-68)
69. Ibid. P. 219. [↑](#footnote-ref-69)
70. Ibid. P. 219. [↑](#footnote-ref-70)
71. Агаев В. Приступы идентичности // *Коммерсант*. 06.02.2017. Режим доступа:

<http://www.kommersant.ru/doc/3205840>. [↑](#footnote-ref-71)
72. Milano B. To Understand Trump, Learn from His Voters // *Harvard Gazette*. 22.02.2017. URL:

<http://news.harvard.edu/gazette/story/2017/02/to-understand-trump-learn-from-his-voters/>. [↑](#footnote-ref-72)
73. Ibid. [↑](#footnote-ref-73)
74. Фрауке Петри: «Нас накроет мощная волна патриотизма» // *Газета Культура*. 15.12.2016. Режим доступа:

<http://portal-kultura.ru/articles/person/142945-frauke-petri-nas-nakroet-moshchnaya-volna-patriotizma/>. [↑](#footnote-ref-74)
75. Yves Lacoste : « La nation, ce concept géopolitique fort, n’est pas d’essence populiste » // *L’Express*. 02.04.2014. URL : <http://www.lexpress.fr/actualite/monde/yves-lacoste-la-nation-ce-concept-geopolitique-fort-n-est-pas-d-essence-populiste_1504212.html>. [↑](#footnote-ref-75)
76. Фукуяма Ф. Проблемы европейской идентичности // *Гефтер*. 17.06.2013. Режим доступа:

<http://gefter.ru/archive/9047>. [↑](#footnote-ref-76)
77. См. подробнее: Bossuat G. « Histoire d’une controverse. La référence aux héritages spirituels dans la Constitution européenne », *Matériaux pour l’histoire de notre temps*. Vol. 78, No. 1. 2005. P. 68-82. [↑](#footnote-ref-77)
78. О необходимости «поднять» немецкий язык до их статуса внутри ЕС не раз высказывались видные политики Германии, включая канцлера А. Меркель: Vasagar J. German “Should Be a Working Language of EU”, Says Merkel’s Party // *The Telegraph*. 18.06.2013. URL:

<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/germany/10128380/German-should-be-a-working-language-of-EU-says-Merkels-party.html> [↑](#footnote-ref-78)
79. Дьекофф А., Филиппова Е.И. Переосмысление нации в «постнациональную» эпоху // *Этнографическое обозрение Online*. – 2014. – № 1. С. 197. [↑](#footnote-ref-79)
80. Миллер А. Европейские войны памяти: кто взорвал консенсус истории и чем за это заплатит // *Россия в глобальной политике*. 02.06.2015. Режим доступа: <http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Evropeiskie-voiny-pamyati-kto-vzorval-konsensus-istorii-i-chem-za-eto-zaplatit--17482>. [↑](#footnote-ref-80)
81. Там же. [↑](#footnote-ref-81)
82. Petite S. Ne parlez plus des réfugiés de 1956 à la Hongrie // *Le Temps*. 26.10.2016. URL :

<https://www.letemps.ch/monde/2016/10/26/ne-parlez-plus-refugies-1956-hongrie>. [↑](#footnote-ref-82)
83. Gutteridge N. Stop the EUSSR! Hungary PM Slams Brussels ‘Sovietisation’ in Savage Attack on Federalism // *Express*. 24.10.2016. URL:

<http://www.express.co.uk/news/world/724664/European-Union-Viktor-Orban-Sovietisation-Brussels-EU-refugees-migrant-crisis> [↑](#footnote-ref-83)
84. Клаус В., Вейгл И. *ООО «Переселение народов» – Краткое пособие для понимания современного миграционного кризиса* / Пер. с чешского И. Безруковой и Н. Фальковской. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2017 [2015]. [↑](#footnote-ref-84)
85. Там же. [↑](#footnote-ref-85)
86. Дьекофф А., Филиппова Е.И. Переосмысление нации в «постнациональную» эпоху // *Этнографическое обозрение Online*. – 2014. – № 1. С. 197. [↑](#footnote-ref-86)
87. Там же. С. 197. [↑](#footnote-ref-87)
88. Там же. С. 198. [↑](#footnote-ref-88)
89. Core Europe to the Rescue: A Conversation with Jürgen Habermas about Brexit and the EU Crisis // *Social Europe*. 12.07.2016. URL: <https://www.socialeurope.eu/2016/07/core-europe-to-the-rescue/>. [↑](#footnote-ref-89)
90. Level of Citizens’ Confidence in EU Institutions // *Eurostat*. URL:

<http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsdgo510&language=en>. [↑](#footnote-ref-90)
91. EU Official Tusk: Idea of One European Nation Is “Illusion” // *Daily Mail*. 05.05.2016. URL:

<http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-3575754/EU-official-Tusk-Idea-one-European-nation-illusion.html>. [↑](#footnote-ref-91)
92. Гринфельд Л. *Национализм. Пять путей к современности* / Пер. с англ. Т.И. Грингольц и М.Р. Вирозуб. – М.: ПЕР СЭ, 2012 [1992]. С. 25. [↑](#footnote-ref-92)
93. См., напр. статьи сборника: *Культурная сложность современных наций* / Отв. ред. В.А. Тишков и Е.И. Филиппова. – М.: Политическая энциклопедия, 2016. [↑](#footnote-ref-93)
94. Lilla M. The End of Identity Liberalism // *The New York Times*. 18.11.2016. URL:

<https://www.nytimes.com/2016/11/20/opinion/sunday/the-end-of-identity-liberalism.html>. [↑](#footnote-ref-94)
95. Хантингтон С. *Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности*. Указ. соч. [↑](#footnote-ref-95)
96. Не будем забывать, что многое зависит от того, как именно понимать слово «космополит» (кстати, это тоже форма идентичности). Космополитом можно назвать человека, небезразличного к проблемам общечеловеческого характера и даже ставящего идеалы человеческой свободы и справедливости превыше всего, но при этом осознающего свою национальную и культурную принадлежность. Но под этим термином можно подразумевать и того, кто равнодушен к стране своего рождения или проживания и для кого национальные и культурные связи, включая язык, не играют сколь-нибудь значимой роли. Космополиты первого типа – совсем не редкость; хотя их трудно сосчитать, вероятно, что они составляют значительную часть населения многих стран Запада, а где-то даже и большинство. Второй тип значительно более редок; видимо, именно таких «радикалов» имел в виду Бенедикт Андерсон, когда говорил, что за всю жизнь встретил не более пяти космополитов. См.: Benedict Anderson: “I Like Nationalism’s Utopian Elements” // *University of Oslo*. 2005. URL:

<https://www.uio.no/english/research/interfaculty-research-areas/culcom/news/2005/anderson.html>. [↑](#footnote-ref-96)
97. Taguieff P.-A. *La revanche du nationalisme : Néopopulistes et xénophobes à l’assaut de l’Europe*. Paris : Presses Universitaires de France, 2015. P. 201. [↑](#footnote-ref-97)
98. Гринфельд Л. Национализм и сознание // *Гефтер*. 08.07.2013. Режим доступа: <http://gefter.ru/archive/9349>. [↑](#footnote-ref-98)
99. Там же. [↑](#footnote-ref-99)
100. Q&A with Müller: Populism in Today’s World // *Princeton University*. 25.10.2016. URL:

<https://www.princeton.edu/main/news/archive/S47/74/07Q70/index.xml?section=topstories> [↑](#footnote-ref-100)
101. Lilla M. The End of Identity Liberalism // *The New York Times*. 18.11.2016. URL:

<https://www.nytimes.com/2016/11/20/opinion/sunday/the-end-of-identity-liberalism.html>. [↑](#footnote-ref-101)